

Сонный паралич



Морок В. Е

Морок В.Е

Сонный паралич

<https://litres.ru/74573693>

SelfPub; 2026

Аннотация

Семь лет Вера не смотрела на воду. Семь лет назад её шестилетний брат ушёл в реку, а она стояла на берегу — и не могла двинуться. Тело не слушалось, как во сне. Врачи называют это сонным параличом. Вера называет это остальным.

Теперь она сомнолог в клинике на острове посреди Ладоги. «Тихий берег» — так называется паром, так называется санаторий. Место, где пациенты не спят: Марк три месяца молчит — и кричит. Лена рисует женщину в белом. Ирина четыре года стоит лицом к стене. А на дне озера горит тусклый, серый, живой свет. Там, на дне, ждут те, кто ушёл. Не мёртвые, не живые. Пока помнят. Пока смотрят. Пока не отворачиваются.

Вера приехала лечить чужую бессонницу. Но остров не лечит — он показывает. И рано или поздно каждый встаёт перед выбором: отвернуться и уехать — или смотреть до конца.

Роман о пороге между сном и явью, водой и камнем, памятью и забвением. О тех, кто видел и молчал. И о том, что начинается, когда молчание кончается.

Содержание

Введение	4
Часть I. Погружение	10
Глава 1. Тихий берег	10
Глава 2. Сестра	30
Глава 3. Пропущенные страницы	49
Глава 4. След	68
Глава 5. Голос из-под пола	88
Глава 6. Тридцать лет	107
Глава 7. Мокрый след	125
Часть II. Тот, кто стоит слева	140
Глава 8. Свод	140
Глава 9. Порог	155
Конец ознакомительного фрагмента.	163

Морок В.Е

Сонный паралич

Введение

Вода была всегда.

До домов, до дорог, до имён. До того, как кто-то назвал берег берегом, а дно дном. Вода лежала и ждала. Тёмная, тяжёлая, с запахом тины и камня. С тем звуком, который не звук, а присутствие. Ровное, тихое, с паузой на выдохе. Дыхание, которое не слышно, пока не прислушаешься. А когда прислушаешься, уже не остановишься.

Есть те, кто не спит.

Не от бессонницы, не от боли, не от шума за стеной. Не спят, потому что видят. Не глазами, а тем, что за ними. Тем, что смотрит из глубины, из-под зрачков, из того места, куда не добирается свет. Они видят то, что рядом. То, что всегда рядом. То, что есть, пока смотрят.

Остров в озере. Кирпичное здание с узкими окнами. Лест-

ница к воде. Причал, сваи, лёд зимой и рябь летом. Обычное место, на карте, в справочнике, в расписании парома. Место, куда приезжают и откуда уезжают. Или приезжают и остаются. Или приезжают и не уезжают. Не потому что не могут. Потому что не отворачиваются.

На дне свет.

Тусклый, серый, живой. Не от фонаря, не от луны, не от солнца, пробившегося сквозь толщу. Свет, который оттуда. С дна. Из глубины, из того, что под водой, под тиной, под камнем. Свет, который не освещает, а означает. Означает: здесь кто-то. Здесь тот, кто остался. Тот, кто ждёт. Ждёт, пока помнят. Ждёт, пока смотрят. Ждёт, пока не отворачиваются.

Что значит не отворачиваться?

Не закрывать глаза, когда видишь. Не уходить, когда остаётся. Не молчать, когда есть слово. Не забывать, когда помнишь. Стоять на берегу, смотреть в воду, видеть свет на дне и не отворачиваться. Не бежать. Не объяснять. Не лечить. Просто стоять. Смотреть. Быть.

Это не про смелость. Смелые борются, спасают, побеждают. Это не про веру. Верующие молятся, ждут, принимают.

Это про другое. Про присутствие. Про то, что являешься. Не уходишь. Не отворачиваешься. Остаюсь. С тем, что видишь. С тем, что чувствуешь. С тем, что есть. Остаюсь, и всё.

Есть тетради. Тетради, в которых писали. Не дневники, не мемуары, не признания. Свидетельства. То, что видели, записывали, потому что не могли не записывать. Потому что видели, и нужно было назвать. Назвать, чтобы стало. Чтобы было. Чтобы тот, кто на дне, знал: помнят. Чтобы тот, кто на берегу, знал: не один. Тетради, которые лежат в подвалах, в шкафах, в сундуках, под досками, в тряпице. Ждут, пока кто-то откроет. Прочтёт. Найдёт.

Есть стена. Стена, на которой царапины. Снизу вверх, тонкие, неровные, как линии на бумаге. Как буквы, которые не буквы. Как слова, которые не слова. Как зов. Из глубины, из-под штукатурки, из-за стены. Зов, который не слышен, пока не прислушаешься. А когда прислушаешься, уже не остановишься.

Есть дыхание. У изголовья. Ночью, в темноте, когда не спишь. Ровное, тихое, с паузой. Дыхание того, кто рядом. Не живого, не мёртвого. Присутствия. Дыхание, которое не страшное, если не бояться. Если знать. Если слушать. Если не отворачиваться.

Эта книга не о призраках. Не о чуде, не о магии, не о том, что за гранью. Эта книга о тех, кто стоит на грани. На пороге, между сном и явью. Между водой и камнем. Между памятью и забвением. Между тем, что видят, и тем, что говорят. О тех, кто видел, и молчал. И заговорил. Или не заговорил, и всё равно не отворачивался.

Их много. Не один, не двое. Десятки, сотни. В каждом городе, у каждой воды, на каждом берегу, где вода забрала и держала. В каждом, кто не спит и видит. В каждом, кто на пороге. Они не сумасшедшие. Не больные. Не одержимые. Они свидетели. Те, кто видел, и не отворачивался. Или отворачивался, и вернулся. Те, кто нёс и молчал. И заговорил. Те, кто стоит. И будет стоять.

Пока.

Пока помнят. Пока смотрят. Пока не отворачиваются.

Эта книга для них. И для тех, кто рядом. У порога, не на пороге. Тех, кто не видит, но держит. Не понимает, но принимает. Не стоит на берегу, но ждёт дома, с чаем, с открытой дверью. Хранители. Без которых свидетель не свидетель. Без которых некому вернуться. Некому сказать. Некому не отворачиваться.

Есть сеть. Не паутина, не ловушка. Связь. Нити, которые тянутся от воды к воде, от берега к берегу, от имени к имени. Нити, которые не видны, но чувствуются. Тем, что за зрачками. Тем, что на пороге. Тем, что есть у всех, только не все смотрят. Сеть, которая растёт. Не по воле одного. По всем. По каждому, кто не отворачивается.

Вода везде. Под асфальтом, под домами, под городами. В каждой луже, в каждой капле, в каждом отражении. Вода, которая была всегда. Вода, в которой все, кто ушёл. Вода, которая держит. Не как плен, как память. Пока помнят, держит. Пока помнят, есть.

Есть те, кто на дне. В воде, в свете, в тишине. Стоят и ждут. Не страшные, не мёртвые. Живые. Тихие. Ждущие. Ждут, пока помнят. Ждут, пока смотрят. Ждут, пока не отворачиваются. Те, кого любили. Те, кого потеряли. Те, кто ушёл, и остался. Не ушёл. Остался. На дне, в воде, в свете, который не гаснет, пока смотрят.

Эта книга приоткрытая дверь.

Не распахнутая. Приоткрытая. Щель, через которую видно. Не всё, не ясно. Тусклый, серый свет, который из глубины. Присутствие, которое за стеной. Дыхание, которое у изголовья. Вода, которая подо льдом. Лёд, который кончится.

И вода, которая останется.

Дверь приоткрыта. За ней то, что есть. Не выдуманное, не объяснённое. Есть. Как вода, как дно, как свет. Как дыхание, как царапины, как тетради. Как те, кто стоит на берегу. Как те, кто на дне. Как те, кто не отворачивается.

Читатель, эта книга не для всех. Она для тех, кто слышит. Не ушами. Тем, что за зрачками. Тем, что на пороге. Тем, что есть у всех, только не все смотрят. Если слышите, читайте. Если нет, закройте. Дверь приоткрыта. Не настёжь. Можно закрыть. Можно не входить. Можно отворачиваться.

Но если войдёте, не отворачивайтесь.

Часть I. Погружение

Глава 1. Тихий берег

Паром качнуло, и Вера схватилась за перила. Металл был ледяной, даже через перчатки забирался под кожу.

«Тихий берег», так называлась клиника, и так назывался паром, который вёз её к этой клинике. Дважды названное тишиною место. Вера не знала, хорошо это или плохо, но ей не нравилось.

Она стояла на корме. Вода Ладоги была серой, свинцовой, такой плотной, что, казалось, можно ступить и не провалиться. Октябрь почти убил её, эту воду: заморозил верхний слой, превратил в некое студенистое вещество: ни лёд, ни вода, а что-то между. Вера смотрела, как льдины, тонкие, как бумага, трутся о борта парома и звенят. Тихий, стеклянный звон.

Она смотрела слишком долго.

Это она поняла, когда заметила, что перестала чувство-

вать руки. Перчатки, шерстяные, хорошие, купленные перед поездкой, не помогали. Она разжала пальцы от перил. На металле остались два мокрых отпечатка, и их быстро затянуло инеем.

Семь лет. Семь лет она не смотрела на воду вот так, по-долгу, не отрываясь. Семь лет обходила открытые водоёмы, не мылась в ванне, только в душе. Семь лет, а теперь стояла посреди озера, которое не торопилось замёрзнуть, и не могла отвернуться.

Она отвернулась.

В сумке, во внутреннем кармане, лежала фотография. Вера не доставала её с тех пор, как села в поезд в Москве. Но она знала, что фотография там, чувствовала её, как чувствуют занозу: не больно, но постоянно.

Паром шёл сорок минут. Кроме Веры, на борту были двое: капитан, толстый мужчина в рыжей куртке, которого она видела только издалека, и женщина в тёмно-синей форме, стоявшая у носа. Женщина не оглядывалась. Она курила, и дым уносило в сторону острова.

Остров обозначился не сразу. Сначала из тумана выступили деревья, тёмные, плотные, словно нарисованные углём.

Потом причал, покосившийся, с одним рабочим фонарём. Потом здание.

Санаторий «Тихий берег» был построен в семидесятых. Вера знала это из документов. Трёхэтажный, кирпичный, с длинными коридорами и окнами, рассчитанными на северную сторону. Документы не передавали цвета. Кирпич был не красный, скорее бурый, как засохшая кровь. Окна, высокие, узкие, похожие на амбразуры. Крыша, тёмная, почти чёрная на фоне неба. Здание казалось вросшим в землю, будто его не построили, а оставили, как оставляют вещи, которые не смогли унести.

Женщина в синей форме затушила сигарету о перила и спустилась к причалу первой. Вера пошла за ней.

— Соколова? — спросила женщина, не оборачиваясь.

— Да.

— Галина Михайловна. Старшая медсестра.

Она повернулась. Лицо у неё было тяжёлое, не злое, не доброе, именно тяжёлое, как камень, который слишком долго лежал на одном месте. Короткая стрижка, серые глаза, морщины, глубокие, но не мягкие, а резкие, как трещины.

Галине Михайловне было пятьдесят пять, но выглядела она и на шестьдесят, и на сорок пять, в зависимости от того, куда падал свет.

— Добрались и хорошо, — сказала Галина. — Последний рейс до ледостава. Завтра, может, ещё пойдёт, а послезавтра нет. Дальше — вертолёт, если кого-то нужно увозить.

— Сколько пациентов?

— Четверо. Больше не берём, не хватит людей.

Галина взяла чемодан Веры. Не спросила, просто взяла. Вера хотела возразить, но промолчала. Сумка осталась у неё, и она прижала её к себе чуть крепче.

От причала до клиники вели деревянные ступени. Доски были мокрые, скользкие. Вера оступилась на третьей, и Галина придержала её за локоть, коротко, крепко, без слов. Отпустила, как только Вера выровнялась.

Входная дверь была тяжёлая, металлическая. За ней тамбур, потом ещё одна дверь, деревянная, с облупившейся краской. Запах ударил в нос: хлорка, старый линолеум и что-то ещё, сладковатое, едва уловимое. Вера знала этот запах. Так пахнет в палатах, где люди спят слишком долго.

— Комнаты на втором этаже, — сказала Галина, поднимаясь по лестнице. Ступени скрипели, но не все, некоторые молчали, и Вера отметила про себя, какие именно. Третья, седьмая, одиннадцатая. Привычка считать, отмечать, запоминать. Врач-сомнолог не может позволить себе роскошь не замечать.

Лестничный пролёт вёл в длинный коридор. Двери стояли одинаковые, серые, с табличками. Галина остановилась у третьей слева.

— Ваша комната. Рабочий кабинет, этажом выше, там же и палаты. Расписание на двери. Завтрак в восемь, обед в час, ужин в семь. Кухня на первом этаже, но вам готовить не нужно, я приготавлию.

— Спасибо.

Галина постояла. Будто хотела что-то добавить. Или ждала, что Вера спросит. Но потом кивнула, коротко, по-военному, и пошла к лестнице.

— Галина Михайловна.

Та остановилась, не оборачиваясь.

— Что мне знать про ночной режим?

Пауза. Галина повернула голову, не до конца, только в профиль.

— Ночью здесь лучше не ходить по коридорам.

И ушла.

Вера стояла в дверях своей комнаты. Маленькая, кровать, стол, стул, окно. На столе лампа с зелёным абажуром, тетрадь и ручка. На кровати серое одеяло, грубое, армейское. Окно выходило на озеро. Вера задёрнула штору.

Она не стала распаковывать чемодан. Достала только тетрадь, свою, не ту, что на столе, и положила на тумбочку у кровати. Потом — фотография. Нет, не стала. Внутренний карман сумки она расстегнула и тут же застегнула обратно.

Было четыре часа дня, и темнело. За окном серое небо становилось лиловым, потом чёрным — без перехода, без сумерек, как выключатель.

Обход пациентов назначили на пять. Вера поднялась на третий этаж.

Галина ждала у лестницы с ключами в руке. Рядом стоял молодой человек, невысокий, тёмноволосый, в серой форме санитара. Он смотрел на стену.

— Тимур, — сказала Галина. — Санитар. Ночные дежурства.

— Тимур Юсупов, — сказал он и протянул руку. Рука была холодная, тонкая, с длинными пальцами. Вера пожала её и почувствовала: он не отпускал на секунду дольше, чем нужно, но и на секунду меньше. Ровно.

— Четверо пациентов, — говорила Галина, идя по коридору. — У всех хроническая инсомния, резистентная к медикаментозной терапии. Вам, как сомнологу, специфика известна. Лечение по схеме, которую вы утвердите после осмотра.

— Истории болезни?

— В кабинете. На столе.

Первая палата, номер четыре. Галина открыла дверь.

Лена сидела на кровати. Тонкая, двадцать два года, блед-

ная до прозрачности. Под глазами тени, лиловые, как небо за окном. Она рисовала. Карандаш в правой руке двигался быстро, точно, как будто рука знала, что делать, и не нуждалась в хозяйке.

— Лена, — сказала Галина. — Это Вера Андреевна. Новый врач.

Лена подняла глаза, коротко кивнула и опустила голову обратно к рисунку. Вера подошла ближе.

На бумаге — женщина. Длинные волосы, длинное платье. Белое, Вера поняла это, хотя карандаш был простой. Лена как-то передала белизну: пустые пространства, не заштрихованные, оставленные чистыми. Женщина стояла. Лицо не было прорисовано, только овал, пустой, как месяц.

— Красиво, — сказала Вера.

— Она приходит по ночам, — сказала Лена. Не поднимая головы. Не меняя интонации. Констатируя.

— Кто приходит?

— Женщина. В белом.

Вера посмотрела на Галину. Та стояла у двери, скрестив руки, и лицо у неё не изменилось.

— Это частый мотив у пациентов при депривации сна, — сказала Вера, обращаясь одновременно к Лене и к Галине. — Мозг компенсирует.

Лена не ответила. Карандаш продолжал двигаться. Вера заметила, что листков на тумбочке было много, десятки. На всех, насколько она могла видеть, была одна и та же женщина. Та же поза. Тот же пустой овал вместо лица.

Вторая палата, номер шесть. Марк.

Он лежал. Не спал, глаза были открыты. Тридцать восемь лет, крупный, с начинающейся сединой в висках. Когда Вера вошла, он повернул голову и посмотрел на неё. Потом отвернулся к стене.

— Марк, — сказала Вера. — Меня зовут Вера Андреевна. Я ваш новый лечащий врач.

Молчание.

— Я хотела бы поговорить. Не сегодня, когда будете готовы. Хорошо?

Молчание.

Галина тихо, почти беззвучно, вздохнула. Вера отметила: не раздражённо, а скорбно.

Марк не двигался. Он смотрел на стену, и Вера увидела, что его руки, под одеялом, сжаты в кулаки. Костяшки белые.

Она вышла.

— Марк не разговаривает третий месяц, — сказала Галина в коридоре. — До этого говорил. Потом перестал. Не постепенно. Просто однажды утром проснулся и больше не сказал ни слова.

— Что-то спровоцировало?

— Не знаю. Он не говорит.

Тимур, шедший чуть позже, дышал ровно и тихо. Вера обернулась. Он смотрел на дверь палаты номер шесть. На его лице не было ничего, ни сочувствия, ни любопытства. Внимание, как у человека, который слушает не ушами.

Третья палата, номер восемь. Пётр Ильич.

Он сидел в кресле у окна. Шестьдесят семь лет, сухой, маленький, с лицом, покрытым глубокими морщинами. Но глаза, живые, яркие, не по возрасту острые. Он читал. На коленях раскрытая книга, но страница не переворачивалась уже давно.

— Пётр Ильич, — сказала Галина. — Новый врач, Вера Андреевна.

Он закрыл книгу, не закладывая страницу, и медленно, аккуратно положил её на тумбочку. И посмотрел на Веру.

Слишком пристально.

Вера знала этот взгляд. Так смотрят пациенты с манией, с паранойей, с бредом преследования, но у Петра Ильича в глазах не было страха. И не было угрозы. Было что-то другое. Узнавание? Нет, не совсем. Скорее, попытка узнать. Как будто он искал в её лице что-то конкретное и проверял, там ли оно.

— Садитесь, — сказал он. Голос тихий, хриплый, но чёткий.

— Спасибо, я постою.

— Садитесь.

Она села на стул у кровати. Пётр Ильич чуть наклонился вперёд.

— Вы похожи, — сказал он. — На ту, что приходила раньше.

Вера не сразу ответила. Досчитала про себя до трёх.

— На кого?

— На женщину. Которая приходила. По ночам.

— Когда это было, Пётр Ильич?

— Всегда.

Галина за её спиной пошевелилась. Вера не видела, но услышала: ткань формы, короткий шорох. Предупреждение.

— Я прихожу днём, — сказала Вера. — А ночью здесь дежурный санитар.

— Я знаю, кто приходит ночью, — сказал Пётр Ильич. И

улыбнулся. Улыбка была мягкой. Это было хуже, чем если бы он улыбнулся зло.

Вера встала.

— Я зайду завтра. Мы побеседуем подольше.

Он кивнул, открыл книгу на той же странице и больше не взглянул на неё.

Четвёртый пациент, палата номер десять. Но дверь была закрыта, и Галина не стала её открывать.

— Ирина. Спит. Не будить.

— Что у неё?

— Вам в истории болезни. Здесь не обсуждаю в коридоре.

Вера приняла это. Молча.

Обход закончился. Галина проводила её до кабинета, третий этаж, конец коридора, дверь без таблички. Внутри: стол, заваленный папками, компьютер старый, монитор громоздкий, как телевизор. На стене расписание. Вера не стала читать его сейчас.

— Истории на столе, — сказала Галина. — Если что нужно, я на первом этаже. Кухня, там же. Чай, кофе, в шкафу.

— Спасибо, Галина Михайловна.

Та постояла, опять как будто хотела что-то сказать. Или ждала.

— Вера Андреевна, — сказала она наконец. — Вы молодая. К нам редко едут добровольно. Обычно, по распределению, от безысходности. Вы добровольно.

— Да.

— Почему?

Вера помолчала. Досчитала до пяти.

— Развитие карьеры.

Галина кивнула. Лицо не изменилось, но Вера почувствовала: не поверила. Не оспорила — просто не поверила.

— Ужин в семь, — сказала Галина и вышла.

Вера осталась одна. Села за стол. Положила руку на папки. Верхняя: «Григорьева Елена, 22 года». Не открыла.

За окном было темно. Стекло отражало комнату: стол, лампу, Веру. Она смотрела на своё отражение, и отражение смотрело на неё. Потом отражение моргнуло, не одновременно с ней. Сначала оно. На долю секунды. Конечно, это усталость. Конечно.

Она зажгла настольную лампу, открыла верхнюю папку и стала читать.

В семь, ужин. Столовая на первом этаже, маленькая, четыре стола. Вера села у стены. Галина принесла ей суп, рисовый, горячий, безвкусный, как больничная еда и должна быть. Тимур сидел за другим столом и читал. Он не ел.

— Вы не ужинаете? — спросила Вера.

— Я позже, — сказал Тимур. Не поднимая глаз. Голос, тихий, ровный, без интонации, но не мёртвый. Скорее, сдержанный. Как будто за каждой фразой стояла ещё одна, не сказанная.

— Давно работаете здесь?

— Третий год.

— Нравится?

Пауза. Он поднял глаза — карие, тёмные, почти чёрные, и в них не было выражения.

— Здесь тихо, — сказал он.

И снова опустил голову к книге. Книга была без обложки — точнее, обложка была, но заклеена белой бумагой.

Пациенты на ужин не вышли. Галина принесла им еду в палаты, Вера видела, как она прошла мимо столовой с подносом: четыре тарелки, четыре стакана. Ровно.

Вера поела, вернулась к себе. Поднялась на второй этаж, в свою комнату. Дверь закрыла на замок, и только потом поняла, что сделала это неосознанно.

Девять вечера. Она раскрыла чемодан. Повесила одежду, две блузки, свитер, спортивный костюм для сна. Достала туалетные принадлежности. Тапочки. Книгу, детектив, купленный в аэропорту, и положила на тумбочку.

Потом сумку, внутренний карман, фотография.

Она не стала её доставать. Положила сумку на дно шкафа. Закрыла шкаф. Села на кровать.

Тишина.

Не та тишина, что в городе, замаскированная, с фоном: машины, лифт, соседи, трубы, ветер в щелях. Здесь тишина была другой. Абсолютной. Вера слышала собственное дыхание. Слышала, как бьётся сердце. Слышала, или казалось, что слышала, как течёт кровь в висках.

За окном, ничего. Озеро, туман, тьма. Штора задёрнута, но Вера знала, что за ней, стекло, а за стеклом, пустота, и в этой пустоте, ничего, кроме воды, которую она не могла видеть.

Она легла.

Одеяло, грубое, колючее, армейское, пахло стиральным порошком и чем-то ещё. Лимоном? Нет. Не лимоном. Чем-то сладковатым, тем же, что и в коридоре. Вера натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза.

Думать о работе. О пациентах. О Лене, десятки рисунков, одна и та же женщина, пустое лицо. О Марке, три месяца

молчания, кулаки под одеялом. О Петре Ильиче, «вы похожи на ту, что приходила раньше». О четвёртом пациенте, которую она не видела, о которой Галина не стала говорить.

О Галине, которая не верит, что Вера приехала добровольно. О Тимуре с книгой без обложки.

О Галине: «Ночью здесь лучше не ходить по коридорам».

Зачем она это сказала? Предупреждение? Практический совет, старое здание, скрипучие полы, можно разбудить пациентов? Или что-то ещё?

Тишина давила. Не как звук, как вес. Как будто воздух стал тяжелее и лёг на грудь. Вера повернулась набок. Подушка, жёсткая, неудобная, пахла тем же сладковатым запахом.

Сон шёл к ней медленно, как волна. Она чувствовала его приближение, тепло в руках, тяжесть в ногах, голоса в голове замедлялись, слова теряли смысл. Лена. Марк. Пётр Ильич. Женщина в белом. Пустой овал вместо лица.

Семь лет.

Семь лет назад, вода. Не такая, как эта, другая. Июльская, тёплая, мелкая. И руки, маленькие руки, которые не смогли,

которые она не успела

Нет. Не сейчас.

Вера открыла глаза. Потолок. Серый, с трещиной в углу, тонкой, как нить. Она проследила за ней взглядом: от угла к центру. Трещина ветвилась. Похожа на реку на карте. Или на, нет.

Она закрыла глаза снова. Дышала ровно. Считала вдохи. Один. Два. Три. Четыре. Профессиональное: она учила этому пациентов, она делала это сама, она знала, как это работает, она

Тяжесть в ногах, тепло в руках, слова теряют смысл.

Тимур с книгой без обложки. Галина с лицом-камнем. Лена, рисующая пустое лицо. Пётр Ильич: «вы похожи».

Сон приближался. Вера чувствовала его, как чувствуют приближение чужого: шаги за спиной, дыхание за стеной, тень на полу. Он был близко. Ещё секунда, и он возьмёт её, мягко, как берут ребёнка из колыбели, и унесёт

И в эту секунду, в самую последнюю, на границе, где реальность уже теряет контуры, где потолок становится небом,

а одеяло, водой, она услышала.

Шёпот.

У изголовья. Рядом. Почти в ухе. Слова, неразборчивые, но Вера знала, что это слова, а не просто звук, не просто скрип старого здания, не просто ветер в щелях. Слова. Кто-то говорил. Кто-то стоял, или сидел, или склонялся, у её подушки и говорил.

Она не могла пошевелиться.

Глава 2. Сестра

Тело не слушалось.

Вера знала, что это такое. Она рассказывала об этом пациентам, спокойно, профессионально, рисуя схемы на доске: гипнагогическое состояние, переход между бодрствованием и сном, мозг уже активизирует тормозные процессы, а сознание ещё не отключилось. Механизм мышечной атонии блокирует скелетную мускулатуру, защитная функция, чтобы человек не повторял движения из снов. Иногда этот механизм запускается раньше, чем сознание успевает уйти. Иногда, наоборот. Это не опасно. Это пройдёт. Длится секунды, редко, минуты. Дышать можно. Моргать, нельзя. Двигаться, нельзя.

Она говорила это сотни раз.

Это не помогало.

Страх шёл не из головы. Он был в теле, в мышцах, в сухожилиях, в каждой клетке, которая знала, что нужно бежать, и не могла. Как будто её залили бетоном от шеи до пяток. Бетон застывал, тяжёлый, тёплый, и Вера тонула в нём, мед-

ленно, по миллиметру.

Глаза не открывались. Веки были свинцовыми. Она пыталась, и не могла. Шевельнуть пальцем, не могла. Сжать челюсть, не могла. Язык, тяжёлый, чужой, лежал во рту, как мёртвая рыба.

Она дышала. Это было единственное, что она могла, и она цеплялась за это, как тонущий цепляется за край льдины. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Грудная клетка поднималась и опускалась, едва-едва, неглубоко, как у спящего. Но она не спала. Она была здесь. Она всё слышала.

Шёпот.

Он не прекращался. Тот же, что разбудил её, или не дал уснуть, она не понимала. Голос, низкий, тихий, на границе слышимости. Слова сливались, крошились, как сухой хлеб. Она ловила слоги, но они не складывались. Звук шёл слева. От изголовья. Близко, слишком близко, ближе, чем может стоять человек, не касаясь. Так близко, что она чувствовала, или ей казалось, что чувствовала, тепло. Дыхание на виске.

Кто-то стоял слева.

Вера знала: это не реальность. Она знала. Сознание, за-

стрававшее в переходе, генерирует образы, гипнагогические галлюцинации, яркие, убедительные, физически ощутимые. Мозг не отличает их от реальности. Пациенты описывают присутствие в комнате, давление на грудь, голоса, тени. Вера кивала, записывала, объясняла. Всё логично. Всё объяснимо. Это пройдёт.

Кто-то наклонился.

Она не видела, глаза не открывались. Но она знала. Так знают, что на тебя смотрят в тёмной комнате: не глазами, а кожей. Чувство присутствия, эволюционное, древнее, дороже слов, дороже логики. Что-то наклонилось к её лицу. Тень легла на веки, стало темнее, хотя глаза и так были закрыты. Воздух стал плотнее. Тепло, ближе.

Вера пробовала крикнуть. Горло не подчинялось. Связки, как струны, натянутые и заledenевшие. Она пробовала хотя бы издать звук, мычание, стон, что угодно. Рот не открывался. Челюсть, замок, ржавый, несдвигаемый.

Страх, не тот, что в голове. Тот что в голове, она контролировала: это гипнагогическое состояние, это пройдёт, это не опасно. Другой страх, в позвоночнике, в рёбрах, в кончиках пальцев, жил своей жизнью. Он не слышал аргументов. Он не читал учебников. Он знал одно: рядом кто-то, и она

не может двигаться.

Силуэт.

Она видела его, не глазами, а где-то ещё, внутри, в пространстве между сном и явью. Очертания, нечёткие, тёмные на чуть более светлом фоне. Форма, человеческая, но неправильная. Слишком близко. Слишком медленно. Наклонилось ещё ниже, и Вера почувствовала, как воздух прошеле-стел мимо щеки, или не воздух, а что-то тоньше, легче, что-то, чему не было названия.

Шёпот стал чётче. Не весь, одно слово. Оно проступило, как буквы на бумаге, проявленной в растворе. Сначала, неясно, потом, резко, ясно, настолько ясно, что Вера перестала дышать.

Сестра.

Одно слово. Тихое, почти нежное. Голос, не мужской, не женский. Детский? Нет. Скорее, память о детском голосе. Или эхо. Или

Сестра.

Так называл её

Вера рванулась. Всё тело, разом, как будто кто-то перерезал верёвки. Руки вскинулись, спина прогнулась, рот открылся, и вдох, резкий, хриплый, как у вытащенного из воды. Она села на кровати. Тьма. Тишина. Одеяло сбилося к ногам. Подушка, на полу. Вера слышала собственное дыхание: частое, рваное, с присвистом на вдохе.

Тишина.

Комната была пуста. Дверь закрыта, замок закрыт — Вера проверила глазами. Штора была задёрнута, лампа выключена. Под окном, на подоконнике, ничего; у изголовья тоже ничего. На тумбочке — тетрадь, ручка. Всё на местах.

Вера посмотрела на часы. Пять сорок три утра. Она легла в одиннадцать. Прошло почти семь часов. Семь часов, а она не чувствовала, что спала. Тело, тяжёлое, затёкшее, как после долгой поездки в неудобном положении. Руки, холодные. Ноги, холодные. Во рту, сухо, язык прилипал к нёбу.

Она села на край кровати и опустила ноги на пол. Линолеум был ледяной. Вера нашарила тапочки, натянула их, постояла. Пошатнулась: голова кружилась, легко, как на карусели.

Душ.

Коридор был тёмный. Вера вышла из комнаты и остановилась, привыкая к темноте. Тишина, та же, что вечером, абсолютная, без единого фоновых звука. Ни труб, ни лифта, ни ветра. Только она и тишина.

Она вспомнила слова Галины. «Ночью здесь лучше не ходить по коридорам.»

Вера пошла.

Ванная была в конце коридора, Галина показала ей вчера. Дверь, белая, с облупившейся краской у ручки. Внутри кафель, белый с жёлтыми подтёками, душевая кабина без занавески, раковина, зеркало. Зеркало, маленькое, прямоугольное, в металлической раме. Вера включила свет. Лампочка загорелась не сразу, сначала мигнула, потом тускло, желтовато.

Она посмотрела на себя.

Лицо, бледное, но не больше, чем обычно. Под глазами тени, но это от усталости, от дороги, от первого дня. Зрачки, Вера наклонилась к зеркалу, оттянула веко, нормальные. Не расширены. Склеры, чистые, без покраснений. Шея, Ве-

ра провела пальцами по коже, гладкая, без следов. Она ищет то, что ищет у пациентов: следы царапин, точечные кровоизлияния, синяки от того, что кто-то давил на горло. Ничего. Кожа, чистая.

Она разделась, встала под душ. Вода, сначала холодная, потом, тёплая, чуть выше комнатной. Не горячая. Котёл, наверное, старый, не тянет. Вера стояла под слабой струёй и чувствовала, как вода смывает ночь. Не воспоминание, воспоминание осталось, чёткое, как фотография, а чувство. Тяжесть в теле. Присутствие. Тепло у виска.

Слово.

Она не стала его повторять. Не стала. Думать о другом. О пациентах. О работе. О том, что нужно сделать сегодня: прочитать истории болезни, осмотреть Ирину, составить предварительный план лечения. О Галине, которая не верит. О Тимуре с его книгой.

О другом. Не о том слове.

Завтрак в восемь. Вера спустилась на первый этаж, умытая, одетая, с мокрыми волосами, собранными на затылке. Столовая: четыре стола, три из них пустых. Галина стояла у плиты, не сидела, стояла, в той же синей форме, в той же

позе, как будто не ложилась.

— Доброе утро, — сказала Вера.

— Доброе, — отозвалась Галина. — Каша, чай. Садитесь.

Вера села. Галина поставила перед ней тарелку, овсяная каша, густая, с плёнкой сверху. Чай, в кружке, тяжёлой, белой, с отколотым краем. Вера ела. Каша была безвкусной, но горячее, и тепло разлилось по желудку, по рёбрам, по рукам. Она согревалась.

— Как спалось? — спросила Галина.

Не оборачиваясь. Стояла к Вере спиной, мыла тарелку. Голос, ровный, бытовой. Но Вера услышала: вопрос был не бытовой. Галина спросила так, как спрашивают о вещи, ответ на которую уже знают.

— Нормально, — сказала Вера. — Дорога сказалась. Уснула быстро.

Галина повернулась. Посмотрела. Не на лицо, на шею. Коротко, незаметно, но Вера заметила, потому что сама этим занимается: ищет следы. Галина искала следы.

— Хорошо, — сказала Галина. — Что хорошо, то хорошо.

И отвернулась к плите.

Вера допила чай. Кружка была тёплая, тяжёлая, грубая. Она обхватила её обеими руками и держала, пока чай не закончился, и ещё немного, просто ради тепла.

Рабочий кабинет. Третий этаж. Вера поднялась по лестнице, считая ступени. Те же, что вечером: третья, седьмая, одиннадцатая молчали, остальные скрипели. Привычка. Ошибка, привычка замечать всё, она знала, что это не всегда полезно, но не могла иначе.

Кабинет. Дверь без таблички. Внутри, тот же хаос: папки, монитор, расписание на стене. Вера села, включила лампу, раскрыла первую папку.

Григорьева Елена, 22 года. Поступила полтора года назад. Диагноз: инсомния, хроническая, резистентная. Не спит более двух-трёх часов в сутки. Периоды полного отсутствия сна, до четырёх суток. Медикаменты, без эффекта. Психотерапия, без эффекта. В графе «сопутствующие», «визуальные галлюцинации в гипнагогической фазе». Вера перечитала. Не «жалобы на галлюцинации», а «визуальные галлюцинации», как факт. Врач, писавший историю, не поставил под

сомнение. Или не счёл нужным.

Второй документ. Марк. Фамилия, Подгорный, 38 лет. Поступил восемь месяцев назад. Диагноз, тот же: инсомния, хроническая. В графе «анамнез», коротко: «Прекращение речи на третьем месяце лечения. Причины не установлены. Неврологический статус, без патологии. Психиатрический осмотр, без отклонений». Вера перечитала ещё раз. Без отклонений, и при этом не говорит. Три месяца молчания, и ни один врач не мог объяснить.

Третий документ. Пётр Ильич Кравцов, 67 лет. Поступил два года назад. Диагноз, инсомния, хроническая, тяжёлая. Сон, не более часа в сутки. В графе «психический статус», «ориентирован, критика сохранена, бредовых идей не выявлено». Ниже, карандашом, другим почерком: «Слышит голоса. Утверждает, что приходит одна и та же женщина. Критику к галлюцинациям не формирует». И ещё ниже, тем же карандашом: «Не настаивать. Не спорить».

Вера закрыла папку. Открыла четвёртую.

Ирина Долгова, 41 год. Поступила четыре года назад. Диагноз: инсомния, хроническая, резистентная. Всё, как у остальных. Но ниже, пустота. Графы, которые должны быть заполнены, пустые. «Психотерапия», прочерк. «Медикамен-

тозное лечение», прочерк. «Динамика», прочерк. Четыре года, и ни одной записи о лечении. Только дата поступления и инициалы врача, направившего. В графе «особые отметки», одно слово, от руки: «Неприкосновенность». Без объяснений. Без подписи.

Вера перечитала это слово три раза. Неприкосновенность. Не «палатный режим», не «изоляция», не «постельный». Неприкосновенность, слово, которого нет в медицинских картах. Слово из другого словаря. Юридического. Или религиозного.

Она закрыла папку, положила поверх остальных и посидела.

Четыре года. Четыре года Ирина находится в этой клинике, в палате номер десять, и ей не ставят лечение. Её не осматривают. Её не выписывают. Галина и Тимур носят ей еду. Все остальные пациенты приходят и уходят, Лена полтора года, Марк восемь месяцев, Пётр Ильич два года, а Ирина, четыре года, и ни движения.

Вера встала. Вышла из кабинета. Пошла по коридору, туда, где палаты. Коридор, длинный, серый, с тёмными полами на линолеуме там, где протоптали путь. До палаты номер десять, двадцать шагов. Она дошла.

Дверь была закрыта. Обычная дверь, серая, как остальные. Табличка, «палата 10». Ничего особенного. Но Вера остановилась и стояла несколько секунд, прежде чем постучать.

Не ответили.

Она постучала ещё раз, тише, как будто боялась разбудить.

— Ирина? Меня зовут Вера Андреевна. Я ваш новый лечащий врач.

Молчание.

Вера положила руку на ручку. Дверь была не заперта, ручка поддавалась легко, без сопротивления, но Вера чувствовала: кто-то не хочет, чтобы она входила.

— Вера Андреевна.

Голос Галины, за спиной. Вера не вздрогнула, но чуть задержала дыхание. Обернулась. Галина стояла в трёх шагах. Вера не слышала шагов. Не слышала, как подошла. Тапочки, бесшумные, или Галина умела ходить тихо, или Вера отогна-

ла мысль.

— Я хочу осмотреть Ирину, — сказала Вера.

— Она не любит, когда заходят, — сказала Галина. Спокойно. Без давления. Как сообщают факт.

— Я понимаю. Но я её лечащий врач, и мне нужно её увидеть.

— Вера Андреевна, — Галина помолчала. — Ирина, особый случай. Она здесь давно. Она привыкла к тишине. Любое вторжение её...

— Что вторжение?

Галина не ответила. Лицо не изменилось. Но пальцы правой руки, сжимавшие связку ключей, побелели. Галина волновалась. Галина, которая не волновалась вчера, при обходе, при рассказе о Марке, при словах Петра Ильича о женщине, приходящей по ночам, волновалась сейчас.

— Я войду, — сказала Вера.

Галина посмотрела на неё — долго чуть дольше, чем нужно.

— Я не могу вам запретить, — сказала она наконец. — Но я вас предупредила.

Вера кивнула, повернула ручку и толкнула дверь.

Палата была маленькая, меньше остальных, Вера это отметила сразу. Окно, слева, занавешенное. Свет, тусклый, серый, проникал сквозь щель между шторами. Кровать, у правой стены. Тумбочка, пустая, без книги, без тарелки, без ничего. Стул, у двери, пустой.

Ирина сидела на кровати. Лицом к стене.

Вера вошла. Закрыла за собой дверь, мягко, без звука. Остановилась.

Ирина не шевельнулась. Не повернула головы. Не отреагировала, ни на скрип двери, ни на шаги, ни на голос. Вера знала это состояние, кататоническая ригидность, полная обездвиженность с сохранением позы. Но что-то было не так. Вера видела кататонию, и это было не совсем она. При кататонии тело замирало, становилось деревянным, восковым. Ирина же не застыла, она сидела. Спокойно, естественно, как сидят, когда ждут. Спина прямая, руки на коленях, ноги опущены. Поза живого человека.

Но она не дышала.

Нет, дышала. Вера присмотрелась. Грудная клетка поднималась, едва, на миллиметр, так дышат во сне, в самой глубокой фазе. Но Ирина не спала. Глаза были открыты.

Вера подошла ближе. Ещё шаг. Ещё. Встала в двух метрах от кровати. Ирина не отреагировала. Глаза, открытые, но не смотрели на стену. Не смотрели ни на что. Стеклянные, как у... — Вера не стала договаривать.

Стена.

Вера перевела взгляд на стену, перед которой сидела Ирина. И замерла.

Царапины. Сотни царапин, тонких, параллельных, идущих сверху вниз, от уровня плеча до уровня пояса. Одинаковых. Каждая, длиной с ладонь, не больше. Глубоких, не поверхностных: штукатурка сбита до кирпича, и кирпич тоже процарапан, неглубоко, но процарапан. Сотни одинаковых линий, нанесённых с одинаковой силой, в одном направлении, сверху вниз. Словно кто-то проводил одну и ту же линию, снова и снова, тысячи раз, пока стена не покрылась бороздами, как старая плашка.

Вера сглотнула. Горло было сухим.

— Ирина, — сказала она. Тихо. — Ирина, я вас вижу. Я здесь, чтобы помочь.

Ничего. Ни движения. Ни звука. Глаза, в стену. Губы

Вера увидела.

Губы Ирины шевельнулись. Еле-еле, так, что можно было не заметить. Но она увидела, потому что искала, потому что профессионал, потому что не могла не заметить. Губы двигались беззвучно, медленно, повторяя одно и то же движение: раскрывались, складывались, раскрывались. Снова и снова. Ритмично, как мантра. Как молитва. Как слово, которое говорят так часто, что оно перестаёт быть словом и становится движением.

Вера смотрела. Пыталась прочесть по губам. Уголки рта, опущены. Язык, не виден. Зубы, не обнажаются. Губы раскрываются чуть, складываются, раскрываются. Короткий звук. Один слог.

Она не могла разобрать. Но ритм был знакомый. Два губных движения, пауза, два губных движения. Снова и снова.

Слово из двух слогов, с одинаковыми гласными, с мягким началом и мягким концом.

Вера стояла и слушала тишину, в которой не было звука, но было слово. Слово, которое она слышала ночью. Которое не должна была слышать. Которое не имело отношения ни к Ирине, ни к клинике, ни к работе.

Которое имело отношение только к ней.

Она сделала шаг назад. Потом ещё один. Ирина не шевельнулась. Губы продолжали. Царапины на стене, продолжались, неподвижные, застывшие, как замёрзший дождь на стекле.

Вера вышла. Закрывает дверь. Прислонилась спиной к стене, к холодной, гладкой, нецарапанной стене коридора.

Галина стояла там же, где стояла, — не ушла, ждала.

— Ну? — сказала она.

Вера не ответила. Она смотрела на дверь палаты номер десять, серую, с табличкой, с ручкой, которая поддавалась слишком легко, и думала о том, что четыре года назад кто-то написал в карте «неприкосновенность». Кто-то знал. Кто-то по-

нимал, что это слово значит, и всё равно написал его. Не стёр. Не заменил на «палатный режим». Оставил.

— Галина Михайловна, — сказала Вера. — Кто вёл Ирину до меня?

— Разные врачи, — сказала Галина. — Они менялись.

— Кто был последним?

— Доктор Лавров. Он уехал в марте.

— Почему уехал?

Галина замолчала. Долго, так долго, что Вера уже ждала ответа, что не ответит.

— Не знаю, — сказала Галина. — Собрал вещи и уехал. Как все.

— Как все?

— Все они уезжали, — сказала Галина. — Рано или поздно. Здесь никто не задерживается.

Вера смотрела на неё. Галина стояла прямо, руки по швам,

ключи на поясе. Лицо — камень, трещины, серые глаза. Пятьдесят пять лет, выглядела и на шестьдесят, и на сорок пять.

— А вы? — спросила Вера.

— А я, нет, — сказала Галина. — Я остаюсь.

И пошла по коридору, тихо, бесшумно, как умела. Тапочки не скрипели. Шарканья не было. Галина шла по старому линолеуму, по тёмным протоптанным дорожкам, и Вера слушала, как стихают шаги. Но шагов не было. Была только тишина, и в ней, где-то далеко, на лестнице, едва-едва: скрип третьей ступеньки.

Потом седьмой.

Потом тишина.

Глава 3. Пропущенные страницы

Кабинет был таким, каким она его оставила: папки на столе, монитор тусклый, пыльный, с тонкой полоской света по краю, будто не до конца выключился. Вера села, придвинула к себе стопку историй. Четыре папки. Она переложила нижнюю наверх, Ирина Долгова.

Папка была тонкая. Десять листов, может, двенадцать. Вера открыла, пролистала. Дата поступления, четырнадцатое октября, четыре года назад. Направивший врач, Кравцов В. С. Фамилия знакомая. Кравцов, это Пётр Ильич? Нет, инициалы не совпадают. Просто однофамилец. Или родственник. Вера сделала мысленную пометку.

После листа с датой поступления, пропуск. Не в записях, а в нумерации: страница первая, вторая, и сразу седьмая. Кто-то вырвал листы. Или несколько листов. Перегибы от корешка остались, бумага была смята у сшивки, и по срезу виднелись рваные края, неровные, как бахрома. Вырывали быстро. Неаккуратно. Не так вырывают из журнала по приказу, а так, как вырывают из дневника, когда нужно, чтобы никто не прочитал, и времени на аккуратность нет.

Вера провела пальцем по срезу. Края крошились, оставляли на подушечках мелкую пыль, жёлтую, как от старой газеты.

Она пересчитала: между второй и седьмой страницей — четыре вырванных листа, восемь страниц текста. Если писать плотно, это два-три месяца наблюдений. Два-три месяца из первых лет лечения Ирины исчезли.

Вера открыла шкаф. Железный, узкий, встроенный в стену, с дверцей, которая скрипела так, что зубы ныли. Внутри полки, три ряда. На верхней, папки с печатями, канцелярские. На средней, коробки с лекарствами: блистеры, упаковки, несколько пузырьков без этикеток. На нижней, пусто. Только пыль и сухой мотылёк, мёртвый, лежащий на боку, с растопыренными крыльями.

Она просмотрела папки на верхней полке. Шесть штук, все с печатями клиники. Внутри отчёты, накладные, графики дежурств. Ни одной истории болезни. Ни одного документа, связанного с пациентами. Здесь хранили всё, кроме того, что имело значение.

Она закрыла шкаф. Села за стол. Телефон, старый, проводной, бежевый, с диском, стоял в углу. Вера набрала номер. Управление здравоохранения, отдел направлений, чет-

вёртый кабинет, номер она помнила наизусть, потому что звонила туда трижды, согласовывая перевод.

Гудок. Второй. Третий. Пятый. Щелчок.

— Иванова слушает.

— Добрый день. Это Соколова, клиника «Тихий берег». Меня направили к вам на

— Да, Вера Андреевна, знаю. Что-то не так?

Голос, ровный, вежливый, с лёгким столичным выговором. Женщина, которую Вера видела один раз, в коридоре, мельком, серый костюм, очки, короткое рукопожатие.

— Мне нужны истории болезни пациента за первые два года лечения. Папка неполная, часть листов отсутствует. Я хотела бы запросить копии из архива.

Пауза. Короткая, но не пустая. Вера услышала в ней не раздумье, а решение. Решение, которое уже было принято до звонка.

— Соколова, вы переехали на остров?

— Да, я на месте. Прибыла вчера.

— Тогда вам лучше обратиться к главврачу по месту. У нас нет доступа к текущим картам пациентов, всё передаётся в клинику.

— Карты переданы. Но часть отсутствует. Я спрашиваю про архив отдела направлений, те документы, которые были до передачи.

Тишина на линии. Не пауза, тишина. Будто на том конце прикрыли микрофон ладонью.

— Соколова, голос изменился. Стал чуть суше, чуть прохладнее. Тон, каким говорят «я вам уже ответила», не говоря этого прямо. Документы по данному учреждению относятся к закрытой информации. Обращение, через официальный запрос, в письменной форме, с указанием причины. Срок рассмотрения, до тридцати рабочих дней.

— Тридцать дней? Но ледостав, я не смогу

Связь оборвалась. Не гудок отбоя, короткий щелчок, как обрезанный провод, и тишина. Вера держала трубку у уха ещё секунды три. Потом медленно положила на рычаг.

Она смотрела на телефон. Бежевый, пыльный, с потрескавшимся проводом. Тридцать рабочих дней. Письменный запрос. Закрытая информация. Так говорят с теми, кто задаёт не те вопросы. Или с теми, кому не хотят отвечать.

Вера открыла тетрадь, свою, не клиническую, и записала: «Вывороченные листы, четыре. Период с даты поступления. Запрос в управление, отказ, мотивировка «закрытая информация». Тридцать дней. Ледостав, вертолёт.» Она посмотрела на запись. Ничего нового. Ничего, что объясняло бы, почему.

Она вернулась на этаж, где палаты. Коридор, серый, протоптанный. Палата номер восемь. Дверь была приоткрыта, не распахнута, не настежь, а на ладонь, в щель падал тусклый свет. Вера постучала костяшками по косяку.

— Пётр Ильич?

— Входите, — сказал он. — Я ждал.

Вера вошла. Он сидел в том же кресле, у того же окна. Книга, на тумбочке, закрытая. Не та, что вчера, другая. Вера не стала проверять.

— Ждали? — спросила она, садясь на стул.

— Вы ведь пришли спрашивать. Про Ирину. Про то, что было до вас.

Вера не ответила. Он был прав, но она не любила, когда предугадывали её вопросы. Это давало собеседнику преимущество, а она привыкла держать инициативу. Врач должен спрашивать первым.

— Я хотел бы знать другое, — сказал Пётр Ильич. — Вы спали прошлой ночью?

— Это мой вопрос, Пётр Ильич.

— Вы врач. Врачи тоже болеют.

— Врачи тоже отвечают на вопросы, когда их спрашивают. Вы знали доктора Лаврова?

Он посмотрел на неё. Тот же взгляд, что вчера, пристальный, ищущий. Но сегодня в нём было кое-что ещё. Сочувствие? Нет. Жалость? Нет. Скорее, прикидка. Как прикидывают, сколько ещё может простоять стул, прежде чем подломится ножка.

— Знал, — сказал он. — Хорошо знал. Он заходил ко мне.

Разговаривал. Не как врач, как человек. Это редко.

— Что он вам рассказывал?

— Сначала, ничего. Сначала он был как вы. Пётр Ильич чуть повернул голову, и свет из окна лёг на его лицо иначе, высветив морщины, каждую по отдельности. — Записывал. Задавал вопросы. Проверял. Искал объяснения.

— Нашёл?

— Объяснения, да. Они всегда есть. Вопрос, какие.

Вера ждала. Молчание затягивалось, но она не стала его заполнять. Умение ждать, единственное, чему научила её практика. Люди говорят, когда готовы, и никакие вопросы не ускорят то, что созревает внутри.

— Лавров не верил, — сказал Пётр Ильич. — Долго. Месяца три, наверное. Потом перестал не верить. Просто начал видеть.

— Видеть что?

— То, что видят все, кто не спит. Он помолчал. — Вы ведь тоже не спите, Вера Андреевна. Не по-настоящему.

Вера сглотнула. Во рту пересохло, резко, разом, как после долгой ходьбы по жаре.

— Пётр Ильич, что значит «видеть»?

— Я не сумею объяснить. Я старый человек и плохо подбираю слова. Но скажу одно. Он наклонился вперёд, и кресло под ним скрипнуло, старчески, как он сам. — Она не приходит к тем, кто спит крепко. Она приходит к тем, кто не может не думать.

— Кто, она?

— Вы знаете.

Вера знала. Но не сказала. Не потому, что не хотела, потому что произнести вслух означало признать, что «она» существует. Что это не гипнагогический образ, не нейронный сбой, не переходная фаза. Что за словом стоит что-то, что приходило к Лене, к Петру Ильичу, к Ирине. Что приходило к Лаврову. Что приходит, к ней.

— Сколько Лавров продержался? — спросила Вера.

— Восемь месяцев.

— И уехал?

— И уехал.

— Почему?

— Спросите лучше, что он понял. Почему, это меньший вопрос.

Вера встала. Стул скрипнул по линолеуму. Пётр Ильич смотрел снизу вверх, маленький, сухой, с глазами, которые не должны были быть такими живыми в свои шестьдесят семь, на второй год бессонницы.

— Вы долго не протянете, — сказал он. Без интонации. Без угрозы. Как диагноз. — Как и он.

Вера не стала отвечать. Кивнула, коротко, по-деловому, и вышла. В коридоре остановилась и прислонилась плечом к стене. Сердце билось ровно, но быстро — быстрее, чем нужно. Она посчитала: восемьдесят два удара в минуту. Тахикардия, лёгкая, ситуативная, объяснимая.

Палата номер шесть. Марк.

Дверь была закрыта. Вера постучала. Тишина, та же, что вчера. Она открыла дверь.

Марк лежал. В той же позе, на спине, руки вдоль тела, глаза открыты, взгляд в потолок. Он не повернул головы. Не моргнул. Вера подошла к кровати, села на стул. Стул был такой же, как у Петра Ильича, деревянный, с прямой спинкой, сколоченный неаккуратно, с выступающими шурупами.

— Марк, — сказала она. — Я снова пришла. Вы не обязаны говорить. Но если захотите, я здесь.

Молчание. Ожидаемое. Вера сидела и слушала, как он дышит. Редко, глубоко, с долгими паузами между вдохом и выдохом. Так дышат перед засыпанием. Но он не спал, глаза не закрывались.

Время шло. Минуты. Вера не считала, просто сидела. Где-то в здании хлопнула дверь. Далеко, внизу, едва слышно. Тишина сомкнулась, как вода.

Марк пошевелился. Рука, правая, та, что лежала поверх одеяла, сдвинулась к тумбочке. Пальцы нащупали что-то. Бумагу. Вера увидела: клочок, вырванный из чего-то, с рваными краями. Карандаш, огрызок, без гранёного корпуса, просто графитовый стержень, заточенный криво. Откуда,

она не знала. В палатах не должно быть карандашей. Тем более, огрызков.

Марк писал. Медленно, печатными буквами. Пальцы двигались неуверенно, как у человека, который не писал давно и разучился. Графит царапал бумагу, тихий, скрипящий звук, как ноготь по стеклу. Буквы ложились неровно, разного размера.

Вера не шевелилась. Ждала.

Марк дописал. Отодвинул бумагу к краю тумбочки. Вернул руку под одеяло. Закрыв глаза, впервые за всё время, что Вера его видела.

Она подождала. Минуту. Две. Дыхание его выровнялось, стало глубоким, редким. Он засыпал, или притворялся. Вера встала. Взяла бумажку.

Два слова. Печатными буквами, кривыми, разными по высоте.

— ТЫ ТОЖЕ

Вера стояла с бумажкой в руке. Буквы дрожали, нет, это её рука дрожала. Она сжала пальцы. Бумага смялась, края

впились в ладонь.

Ты тоже. Тоже, что? Тоже не спишь? Тоже не можешь? Тоже, виноват?

Тоже.

Вера сунула бумажку в карман халата. Не выбросила. Не положила на стол. В карман. Потом вышла из палаты, закрыла дверь и пошла по коридору. Не к лестнице, к окну в конце, к тому, что выходило на озеро. Она остановилась у стекла. Не смотрела вниз. Не смотрела на воду. Смотрела на своё отражение, тусклое, расплывчатое, с тёмными провалами вместо глаз.

Ты тоже.

Семь лет назад, вода. Не ладожская, другая. Речная, мелкая, тёплая. Июльская вода, в которой

Вера отошла от окна. Резко. Чуть не задела вазон с сухим цветком на подоконнике, вазон качнулся, но не упал.

Она поднялась к себе. Второй этаж, своя комната. Закрыла дверь. Не на замок, просто закрыла. Села на кровать. Вынула из кармана бумажку. Разгладила на колене. Буквы, кри-

вые, детские. «ТЫ ТОЖЕ». Графит размазался по бумаге, по её пальцам. Серая пыль на подушечках, как от вырванных листов из истории Ирины.

Вера достала из тумбочки чистую тетрадь. Не клиническую, свою. Обычную, в клетку, купленную вместе с перчатками, перед поездкой. Открыла на первой странице. Ручка, синяя, тонкая. Она написала:

— Дневник наблюдений.

Дата: 15 октября.

Пациент: Соколова В. А, (наблюдение собственное).

Она остановилась. Перечитала. Написала так, как пишут в карте, о себе в третьем лице. Профессиональный приём. Дистанция. Если описываешь себя как пациента, проще держать рамку. Так учили. Так она делала. Раньше, в институте, на практике, когда нужно было описать собственный приступ для учебной истории. Тогда это было упражнением. Сейчас, не упражнение.

— Ночь 14–15 октября. Приступ мышечной атонии в гипнагогической фазе. Длительность, приблизительно две-три минуты (оценка неточная, чувство времени нарушено). Сопутствующие: слуховая гипнагогическая галлюцинация (шёпот, источник, слева, у изголовья), ощущение чужого при-

сутствия (слева), тактильная, тепло на виске. Зрительная, силуэт, наклоняющийся к лицу.

Ручка замерла. Вера смотрела на строчки. Сухо, точно, как в учебнике. Она дописала:

— Аффективный компонент: выраженный. Длительность последствий, до утра (тяжесть в теле, сухость во рту, тахикардия).

Между строк, всё то, что она не написала. Страх, животный, дочеловеческий, живущий не в голове, а в позвоночнике. Слово. Голос. Тепло. Силуэт. То, как силуэт наклонился, медленно, беззвучно, и то, что она ждала в последнюю секунду: касания, боли, чего-то. И не дождалась. Отпустило. Резко, как будто перерезали.

Она не написала слово. Написала «голос». Написала «источник слева». Написала «неразборчиво». Это была правда, наполовину. Вторая половина лежала между строк, как вырванный лист между страницами: на срезе видны рваные края, но самого текста нет. Четыре листа из её памяти, вырваны, замены нет.

Вера закрыла тетрадь и положила на тумбочку, рядом с детективом. Провела ладонью по обложке — гладкая, про-

хладная; кончики пальцев чувствовали каждую клеточку тиснения. Всё знакомо. Всё под контролем. Она врач. Она справится.

Ужин, в столовой, одна. Галина принесла картошку с рыбой, но Вера не почувствовала вкуса. Ела механически, по кусочку, разжёвывая тщательно, не торопясь. Тимура не было. Столовая, пустая, четыре стола, три пустых, один занят. Звук вилки о тарелку, единственный звук в здании. Вера отложила вилку. Тишина стояла.

Вернулась к себе. Семь вечера. За окном, темно, как в колоде. Штора задёрнута, но Вера знала, что за нею, стекло, пустота, вода. Не думать о воде.

Она не стала ложиться. Села в кресло, единственное, что было в комнате помимо кровати, стола и тумбочки: старое, с деревянными подлокотниками, обтянутое потёртым кожаным, который скрипел при каждом движении. Открыла детектив. Прочитала страницу. Вторую. На третьей остановилась: слова не складывались в смысл, буквы оставались буквами, рядами значков. Она перечитывала абзац, трижды, четыре раза, и не запоминала ни одного предложения.

Книга легла на тумбочку. Вера встала и прошла по комнате — четыре шага к окну, четыре обратно. Двенадцать

квадратных метров — всё, что ей принадлежало. Она остановилась у двери и прислушалась.

Тишина. Ни шагов, ни шёпота, ни скрипа. Абсолютная, тяжёлая. Как если бы здание не было пустым, а замурованным.

Чай. Вера спустилась на первый этаж. Кухня, маленькая, белая, с кастрюлями на крючьях и плитой, на которой Галина готовила. Чайник, электрический, старый, с накипью внутри. Вера наполнила его, поставила на подставку. Пока грелся, стояла, прислонившись к стене, и смотрела на свои руки. Руки были спокойны. Пальцы, ровные, не дрожали. Она сжала кулак, разжала. Сжала, разжала. Всё в порядке.

Чай, в кружке, той самой, с отколотым краем. Вера поднялась к себе. Села в кресло. Пила маленькими глотками, обжигаясь, не чувствовала температуры, не чувствовала вкуса, только тепло. Тепло, единственное, что было настоящим.

Было девять, потом десять. Вера вставала, прошлась, снова села, открыла тетрадь и перечитала запись. Дописала:

— Вечер 15 октября. Решение: отложить засыпание. Контроль состояния, через активность (чтение, неэффективно, внимание рассеяно).

Она не напишет «боюсь засыпать». Не напишет «не хочу». Это будет в другой тетради, если будет. Здесь, только факты.

Одиннадцать. Чай остыл. Вера вылила его в раковину на первом этаже, ходила бесшумно, держась за стену, считая ступени: первая, вторая, третья, скрипит, четвёртая, пятая, шестая, седьмая, молчит. Коридор тёмный. На первом этаже, ни звука. Только холодильник на кухне, мерное, низкое гудение, как у большого животного во сне. Вера вылила чай, сполоснула кружку, поставила на полку. Поднялась обратно.

Полночь. Вера сидела в кресле. Спина затекла, шея затекла, ноги, затекли. Она встала, чтобы размяться, и в этот момент, на полпути от кресла к кровати, поняла, что не может стоять.

Не так, как при параличе. Не так, как ночью. Медленнее. Тело стало тяжёлым, не свинцовым, а как будто наполненным песком, сырым, мокрым. Веки, тяжёлые. Ноги, ватные. Голова, пустая, тёплая, как после горячего душа. Сон шёл к ней, не как волна, а как прилив: тихий, необратимый, поднимающийся от пяток к коленям, от колен к бёдрам, от бёдер к пояснице.

Она сопротивлялась. Прислонилась к стене, открыла гла-

за шире, сжала кулаки. Бесполезно. Сон поднимался выше, поясница, грудь, плечи. Пальцы разжались сами. Голова упала на грудь. Колени подогнулись.

Вера упала на кровать. Не легла, упала. Одеяло не накрыла. Подушка, приняла, мягкая, знакомая, пахнувшая тем же сладковатым запахом. Лимон, нет. Не лимон. Чем-то, чему она не могла дать названия.

Паралич начался сразу, без перехода, без пограничной зоны, без дремоты. Тело, замурованное. Глаза, закрыты. Челюсть, замок. Пальцы, не шевельнуть.

И в этот раз, не шёпот.

Шаги.

Медленные, мерные, как метроном. Кто-то шёл. По коридору? Нет, ближе. В комнате? Нет, за стеной? Невозможно определить: звук шёл отовсюду и ниоткуда, вибрировал в полу, в матрасе, в подушке, передавался через кость, через череп. Тяжёлые, ровные, неторопливые. Будто кто-то знал, что торопиться некуда.

И они приближались. Слева.

Шаг. Ещё. Ещё.

Вера считала, потому что не могла не считать, потому что счёт был единственное, что оставалось, когда тело не двигалось. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Каждый, тише предыдущего. Не потому что удалялся. Потому что приближался. Чем ближе, тем тише. Тем плотнее. Тем ближе.

Шаг. Шаг.

Пауза.

Глава 4. След

Одеяло было натянуто до подбородка.

Вера не помнила, как легла. Она помнила кресло, холодный чай, решимость не закрывать глаз, и потом: шаги. Считала до пяти, до шести, и обрыв. Темнота. Пустота. Ничего.

Сейчас утро. Серый свет сочился сквозь штору, ложился на пол косой полосой, выхватывал из темноты край кровати, ножку тумбочки, тетрадь. Вера лежала на спине. Руки, вдоль тела. Одеяло, до подбородка. Она не укрывалась. Кто-то укрыв.

Или она сама — во сне. Сомнамбулические действия при парасомниях нередки: тело совершает привычные движения, сознание не фиксирует их. Ничего необычного. Ничего, что требовало бы объяснения за пределами физиологии.

Она пошевелила пальцами. Левая рука, слушалась. Правая, слушалась. Сжала кулак, разжала. Повернула голову, мышцы шеи отозвались тупой тяжестью, как после долгой неподвижности. Язык, шевелился. Челюсть, открывалась. Всё, нормально.

Ладонь.

Левая ладонь чесалась. Не сильно, но настойчиво, как будто что-то впилося под кожу. Вера подняла руку, поднесла к лицу. Разглядела.

Царапина. Тонкая, полумесяцем, от основания большого пальца к запястью. Неглубокая, но свежая: края розовые, чуть припухшие, с крохотной каплей засохшей крови. Вера провела по ней подушечкой правого указательного пальца. Стягивало. Боль, лёгкая, точечная, как от пореза бумагой.

Вечером этой царапины не было. Вера была уверена, не потому, что помнила, а потому что проверяла. Руки, последнее, что она проверяла перед сном, профессиональная привычка: пульс, температура, сухость, цвет. Руки были чистые.

Она встала, подошла к зеркалу над раковиной. Левая ладонь, вверх, под свет. Царапина чётче, чем казалась в кровати: полумесяц, равномерный по глубине, без прерываний. Не от ногтя, ноготь оставил бы зигзаг, рваный край. Это, от чего-то тонкого и жёсткого. От чего, она не знала.

Стена.

Вера обернулась. Не к двери, к стене, у изголовья кровати. Серая, гладкая, с тонкой трещиной в углу, которую она заметила в первую ночь. Трещина, та же, не больше, не ветвистее. Но рядом, в десяти сантиметрах от изголовья, на уровне подушки, одна линия. Тонкая, белёсая, как след от ногтя на штукатурке. Свежая: пылинки штукатурки ещё лежали на бороздке, не осыпались.

Она прикоснулась. Палец прошёл по линии, сверху вниз, пять сантиметров, не больше. Глубина, меньше миллиметра. Направление, ровное, без отклонений. Один проход. Один уверенный, неторопливый жест.

Она отдернула руку. Присела на край кровати. Сердце билось чаще, чем нужно, но не сильно. Восемьдесят, может, восемьдесят два. Она не стала считать. Считать, значит признать, что есть что считать.

Тетрадь. Ручка. Вера раскрыла дневник на второй странице, первая была заполнена вчера, и написала:

— 16 октября. Утро. Второй эпизод, ночь 15–16. После эпизода обнаружены: 1) царапина на левой ладони (полумесяц, свежая, глубина, поверхностная, источник неизвестен); 2) линия на стене у изголовья (глубина, менее миллиметра, длина, около пяти сантиметров, свежая, штукатурная пыль

на бороздке). Одеядло, натянуто до подбородка, воспомина-
ние об укрывании отсутствует.

Она перечитала. Сухой, точный текст. Как в карте. Как
будто речь шла не о ней.

Допишет позже. Сейчас нужно работать — нужно найти
Лаврова.

Кабинет. Третий этаж. Вера поднялась по лестнице, ступе-
ни молчали и скрипели по привычной схеме, третьей и седь-
мой не было слышно. В кабинете всё оставалось так, как она
оставила: папки, монитор, телефон. Она включила компью-
тер. Загружался долго, жёсткий диск хрустел и постукивал,
как старое сердце. Пока грузился, она перебрала бумаги в
ящике стола. Накладные, счета, списки медикаментов, ниче-
го. В нижнем ящике, конверт, пожелтевший, нераспечатан-
ный. На конверте, адрес клиники и штамп: «Личное дело со-
трудника». Вера вскрыла.

Внутри был один лист: копия трудового договора на имя
Лаврова Андрея Сергеевича. Дата заключения — первое
июля две тысячи первого года. Дата расторжения — двена-
дцатое марта две тысячи второго года. Восемь месяцев. Пётр
Ильич говорил — восемь.

В договоре, адрес Лаврова: Москва, улица Зорге, дом двенадцать, квартира сорок семь. Телефон, указан. Вера набрала. Гудок. Второй. Третий. Десятый. Двадцатый. Никто не ответил. Номер, живой, не отключён, но пустой, как необитаемая комната.

Она положила трубку. Набрала другой, справочная, Москва. Попросила соединить с абонентом по адресу. Автоответчик: «Абонент на данный адрес не зарегистрирован».

Монитор наконец загрузился. Браузер, старый, медленный, с такой же жёлтой панелью, как страницы старой книги. Интернет шёл через спутник, страница открывалась по минуте, а то и дольше. Вера ввела фамилию. «Лавров Андрей Сергеевич врач». Загрузка. Чёрный экран, потом, белый, потом текст. Две ссылки. Первая, статья из медицинского журнала, трёхлетней давности: «Проблемы хронической инсомнии в условиях стационара», соавтор, А. С. Лавров, клиника «Тихий берег». Вера открыла. Статья, сухая, академическая, ничего нового. Но в подписи, электронная почта. Вера переписала адрес.

Вторая ссылка, форум. Тема: «Кто работал в клинике Тихий берег?» Один ответ, годовалой давности, от анонимного пользователя: «Была там полгода назад. Врачей не нашла. Только медсестра и санитар. Спросила про Лаврова, сказа-

ли, уволился. Куда, не знают». Всё. Больше, ничего.

Вера открыла почту, веб-интерфейс, тугой, с задержками по полминуты на каждое нажатие. Написала Лаврову: коротко, по-деловому. «Андрей Сергеевич, меня зовут Вера Соколова, я сменила вас в клинике „Тихий берег“. Мне необходимо поговорить о пациентке Долговой И. и об обстоятельствах вашей работы. Прошу ответить на этот адрес или позвонить». Отправила. Статус, «доставлено». Ответ, неизвестно когда.

Она откинулась на спинку стула. Потолок в кабинете был ниже, чем в палатах, или казалось. Трещины, везде, сеть тонких линий, как на карте высохших рек. Вера проследила одну, от угла к лампе, от лампы к двери. Где-то за стеной, тишина. Где-то за тишиной, Ирина. Где-то за Ириной, то, что вырвали из истории болезни.

Она встала и пошла искать Галину.

Та была на кухне. Мыла пол, на коленях, с тряпкой, в резиновых перчатках. Вода, серая, мыльная, пахла хлоркой. Галина двигалась по кафелю методично, полосами, как трактор по полю. Не подняла головы, когда Вера вошла.

— Галина Михайловна.

— Слушаю.

— Расскажите мне про Лаврова.

Тряпка остановилась. Секунду. Потом снова пошла, в том же ритме, та же полоса.

— Что рассказывать. Был врач. Уехал.

— Почему уехал?

— Сказал, по собственному. Собрал чемодан и уехал.

— Это вы мне уже говорили. Расскажите то, чего не говорили.

Галина поднялась с колен. Сняла перчатки, медленно, палец за пальцем, как снимают кожу. Руки под перчатками были красные, сморщенные от воды. Она повесила перчатки на кран, вытерла ладони о фартук. Посмотрела на Веру, прямо, в лицо. Не на шею, не на руки, в лицо.

— Лавров перестал спать, — сказала она. — Совсем. Я заметила на третьем месяце. Круги под глазами, руки трясутся, ключи роняет. Спрашиваю, не спите? Говорит, нет. Не

сплю.

— Сколько, совсем?

— К моменту отъезда, две недели. Может, больше. Он не считал. Или считал, но перестал.

Две недели без сна. Вера знала, что это значит: на четвёртые-пятые сутки начинаются микросны, несколько секунд, иногда минута, мозг отключается локально, человек не осознаёт. На седьмые, галлюцинации, зрительные и слуховые, стойкие. На десятые, бред, паранойя, дезориентация. На четырнадцатые, психоз. Две недели без сна, это не выносимость. Это порог, за которым организм живёт по другим правилам.

— Он ходил по ночам? — спросила Вера.

— Ходил.

— Куда?

— По коридорам. Тихо. Я слышала, не сплю тоже, привыкла. Скрип половицы, и вот, кто-то идёт. Один раз вышла, он стоит у палаты номер десять.

Пауза. Галина не отвела взгляд, но и не продолжила. Вера ждала.

— Что он делал? — спросила она.

— Стоял.

— Просто стоял?

— Стоял и слушал.

— Что слушал?

Галина отвернулась к раковине. Открыла кран. Вода полилась, тонкой, ровной струёй, журчание в тишине кухни казалось громким, неуместным. Она стояла спиной, и по тому, как напряглись плечи, ткань формы натянулась, Вера поняла: ответ есть, но его не дадут. Не сейчас.

— Галина Михайловна.

— Он перед отъездом сказал мне одну вещь. Кран закрыт. Галина не повернулась. Голос, тише, чем обычно. — Я не поняла тогда. Может, вы поймёте.

Вера ждала.

— Он сказал: «Она ждёт, когда её увидят. Как только увидишь, не сможешь перестать».

Тишина. Холодильник гудел, мерно, ровно, низким баском. Где-то в стене щёлкнула труба, коротко, как выстрел издалека.

— Что это значит? — спросила Вера.

— Не знаю. Галина надела перчатки, обратно, палец за пальцем. — Я тридцать лет работаю. Я не врач. Я медсестра. Я мою полы и раздаю таблетки. Мне, не положено понимать. Вам, положено. Вы поймите. И поторопитесь.

Она снова опустилась на колени. Тряпка пошла по кафелю, та же полоса, тот же ритм. Разговор окончен.

Палата номер десять. Вера поднялась на третий этаж одна. Коридор был пуст, на линолеуме — тёмные дорожки, двери серые. У десятой палаты она остановилась и прислушалась: за дверью ничего, ни звука, ни движения. Она положила руку на ручку и толкнула.

Ирина сидела на кровати. Лицом к стене. В той же позе, спина прямая, руки на коленях, ноги опущены. Ниже плеча,

ни складки на одежде, ни сдвига. Точно та же поза. Точно та же осанка. Как будто не двигалась с вчерашнего вечера, или как будто движение ей не нужно.

Вера вошла. Закрыла дверь, мягко, без стука. Притянула стул, поставила рядом с кроватью, села. Близко, в полуметре. Ирина не отреагировала. Глаза, открыты, стеклянны, смотрят в стену. Губы, шевелятся. Беззвучно, ритмично. То же движение, тот же ритм: раскрываются, складываются, пауза. Раскрываются, складываются, пауза. Вчера Вера не разобрала слово. Сегодня не пыталась, знала, что не разберёт, и знала почему: потому что разбирать не хочет.

— Ирина, — сказала она. — Меня зовут Вера. Я врач. Я здесь, чтобы помочь. Вы меня слышите?

Ничего. Губы, то же движение. Ритм не сбился. Глаза, в стену.

— Я знаю, что вы давно здесь. Четыре года. Я знаю, что вам не проводили лечение. Я хочу это изменить. Но для этого мне нужно понять, что с вами. Пожалуйста, если можете, дайте мне знак.

Тишина. Вера сидела и смотрела. На стену, потому что Ирина смотрела на стену, и взгляд сам собой поднимался к

тому, на что устремлены стеклянные, не видящие глаза.

Царапины.

Сотни, как вчера. Тонкие, параллельные, сверху вниз, от плеча до пояса. Борозды в штукатурке, стёртые до кирпича. Но не все. Не все одинаковые. Вчера Вера видела их как единое целое, массу, фактуру. Сегодня она смотрела внимательно.

Одна, другая.

Белёсая, чуть влажная, с порошинками свежей штукатурки. Как на стене у изголовья кровати Веры. Точно такая же. Прошедшая поверх старых борозд, пересекая их, одна линия, одна глубина, одно движение. Не вчерашняя, но и не старая. Сегодняшняя. Ночная.

Ирина царапала стену ночью.

Вера посмотрела на руки Ирины. Лежали на коленях, спокойно, без напряжения. Ногти, короткие, обломанные, с тёмными ободками под краями. На подушечке безымянного пальца правой руки, белёсая пыль. Штукатурная, свежая.

Она не просто сидела. Она делала это, каждую ночь. Сно-

ва и снова. Одна линия за другой, ночь за ночью, четыре года. Сотни линий, это не один порыв, не приступ. Это, практика. Ритуал. Человек, который царапает стену четыре года, не сумасшедший. Человек, который царапает стену четыре года, знает, зачем он это делает.

Ирина прекратила шевелить губами.

Вера увидела это не сразу, секунды через три, когда поняла, что что-то изменилось. Ритм сбился. Губы замерли, полуоткрытые, в той точке, где звук начинается, но не рождается. Голова не повернулась. Глаза не сместились. Но губы, остановились.

Она смотрела. Ждала. Секунды складывались в минуты, а минуты, в тишину, густую, как сироп. Ирина не двигалась. Вера не двигалась. Две женщины в маленькой комнате, одна лицом к стене, другая лицом к ней, и между ними ничего, кроме воздуха и царапин.

Потом губы снова шевельнулись. Ритм, тот же. Раскрываются, складываются, пауза. Как будто ничего не было. Как будто пауза, не пауза, а вдох перед словом, которое так и не прозвучало.

Вера встала. Стул не скрипнул, она встала тихо, привык-

ла. Вышла. Прикрыла дверь. В коридоре стояла, прислонившись к стене, и смотрела на табличку: «палата 10». Металлическая, с гравировкой, привинчена двумя шурупами. Один шуруп, ржавый, с потёком окисла. Другой, новый, блестящий. Меняли? Когда?

Она спустилась к себе. В комнате, тетрадь, ручка, детектив на тумбочке. Было пять вечера. За окном, темнота, как всегда, как вчера, как завтра. Без перехода.

Вера открыла дневник, дописала запись за утро:

— После второго эпизода: царапина на левой ладони, линия на стене у изголовья. Источник, не установлен. Возможные объяснения: 1) сомнамбулическое действие (самоповреждение во сне); 2) гипнагогическая галлюцинация с тактильным компонентом (ощущение прикосновения интерпретируется как царапина, но реального повреждения нет, противоречит: царапина реальна, отёк и покраснение присутствуют); 3) действие, совершённое в состоянии парасомнии, не достигающее уровня осознания.

Она остановилась. Третье объяснение, самое правдоподобное, и самое неприятное. Если она царапала стену сама, значит, тело двигалось, пока сознание было заблокировано. Это противоречит картине сонного паралича: при ато-

нии скелетная мускулатура не активизируется. Если тело двигалось, это не паралич. Что-то другое.

Ниже она дописала:

— В палате номер десять: на стене обнаружена свежая царапина, аналогичная по характеру следу у изголовья в моей комнате. Совпадение? Случайность? Проверить.

Закрыла тетрадь. Сидела, смотрела на обложку. Потом встала, задёрнула штору плотнее, включила настольную лампу. Зелёный абажур бросал на стол круг тёплого света. За кругом, темнота, густая, стенная.

Решение: не ложиться. Сидеть в кресле, с включённым светом. Книга, на коленях, раскрытая, пальцы держат страницы. Чай, на подлокотнике, в кружке с отколотым краем, горячий, обжигающий. Тетрадь, на тумбочке, раскрытая, ручка, рядом. Если придёт сон, он найдёт её сидящей. Не лёжа. Не в темноте. Не безоружной.

Она так и сидела. Читала, или делала вид. Страницы переворачивались, слова ложились перед глазами, не задерживаясь, как вода сквозь песок. Чай, остывал, она не допивала. Свет, горел. Тени, не двигались. Часы на тумбочке, тикали, тихо, ровно, метроном, который никто не заводил, а он шёл.

Десять. Одиннадцать.

Стук.

Тихий, короткий, двумя костяшками. Не Галина, Галина не стучала, Галина входила. Не скрип двери, не шаги, стук. В дверь, снаружи.

Она встала. Книга соскользнула с колен, упала на пол, глухо, как ладонь о стол. Вера не подняла. Подошла к двери. Замок, закрыт, она закрывала вечером, каждый вечер, привычка. Повернула ключ. Дверь открыла на ладонь.

Тимур.

Стоял в коридоре. В серой форме, в тапочках на босу ногу, не в рабочих, в других, матерчатых, тонких. Лицо, то же, что всегда: без выражения, тёмные глаза, прямая линия рта. Но что-то в нём было иначе. Не в лице, в позе. Он стоял не как стоит санитар у двери врача, ровно, по струнке, на расстоянии. Он стоял как стоит человек, который знает, что через секунду уйдёт, и хочет сказать то, ради чего пришёл, быстро, пока не передумал.

— Вера Андреевна, — сказал он. Голос, тише, чем обыч-

но. Почти шёпот, но не шёпот. Сдержанный.

— Что случилось?

— Вы не должны оставаться здесь до ледостава.

Тишина. Вера смотрела на него. Он на неё. Карие глаза, почти чёрные, без дна, без бликов. В тёмном коридоре, только полоска света из её комнаты падала на его лицо, выхватывая скулу, впадину виска, край брови.

— Почему? — спросила она.

— Уезжайте. Пока паром ходит.

— Тимур, объясните. Что происходит? С чем это связано, с Ириной? С Лавровым?

Он не ответил. Пальцы правой руки, те самые, длинные, тонкие, с холодным рукопожатием, сжались и разжались. Один раз. Коротко.

— Пожалуйста, — сказал он. Слово прозвучало непривычно в его рту, как будто он не привык произносить его, как будто оно было из чужого словаря, из другого языка, переведённого на русский.

— Я не могу уехать. Я только приехала. У меня пациенты, у меня

— У вас будет.

— Что будет?

Он отступил. Шаг назад. Тапочки бесшумны, матерчатые, мягкие, скользят по линолеуму. Ещё шаг. Он уходил.

— Тимур.

— Не сегодня. Но скоро.

Он повернулся и пошёл по коридору. Бесшумно, быстро, тень в темноте, и скрылся за поворотом, и шаги стихли, и ничего не осталось, кроме полосы света из её комнаты и тишины, густой, ждущей.

Вера стояла у двери. Рука, на ручке, холодной, металлической. Хотела закрыть, и не закрыла. Слушала.

Тимур не ушёл. Он остановился, за поворотом, в нескольких метрах, там, где коридор уходил к лестнице. Вера слышала, не шаги, не дыхание, а голос. Тихий, низкий, с горло-

вым резким звуком, которого в русском нет. Он говорил, не с ней. С кем-то. Короткая фраза, четыре-пять слогов, с вопросительной интонацией, с подъёмом в конце. Потом тишина. Потом ещё фраза, короче, ниже, без подъёма. Утверждение. Или ответ.

Она не поняла ни слова. Татарский? Не похож, татарский мягче, растянутее. Этот язык, рубленый, гортанный, с придыханиями. Арабский? Она не знала арабского, не могла отличить от других восточных языков, но звук, тембр, ритм, что-то знакомое, что-то, что она слышала когда-то, не здесь, не сейчас

Голос стих. Полная тишина. Ни шагов, ни шёпота, ни дыхания. Тимур ушёл, или остался, но перестал говорить. С кем он говорил, пустота не отвечала.

Вера закрыла дверь. Повернула ключ. Прислонилась спиной к двери, к дереву, холодному, шершавому, с облупившейся краской. Лопатки ощущали каждый бугорок, каждую трещину.

— У вас будет, что будет? Что он не договорил? И с кем говорил в пустом коридоре, в темноте, после того как предупредил её, уехать, пока паром ходит?

Она вернулась к креслу. Села. Книга, на полу, раскрытая, корешком вверх. Чай, остыл давно. Свет, горел, зелёный круг на столе, тёплый, единственное тёплое в комнате.

Вера не легла. Одеяло, на кровати, нетронутое, ровное. Подушка, на месте. Она сидела в кресле, с тетрадью на коленях, с ручкой в руке, и смотрела на дверь. Часы, тикали. Свет, горел. Темнота, ждала.

Где-то внизу, под ней, за стенами, за полами, в палате номер десять, Ирина сидела лицом к стене. Шевелила губами. Или не шевелила. Или царапала. Или ждала.

Ждала, когда её увидят.

Глава 5. Голос из-под пола

Свет горел. Книга лежала на коленях, раскрытая на сорок второй странице, той самой, на которой застряла вчера. Часы тикали. Вера сидела в кресле, выпрямившись, ноги на полу, спина, к спинке, руки, на подлокотниках. Кожзам скрипел при каждом движении, даже при дыхании.

Она не засыпала.

Не потому что боролась, бороться было не с чем. Сон не шёл. Вчера пришёл, как прилив, смёл всё, что она выставила против него. Сегодня, не шёл. Как будто получил то, что хотел, и теперь ждал.

Ночь тянулась. Часы на тумбочке показывали половину первого, потом без четверти час, потом час, и дальше, вяжущее, без обещания. Вера смотрела на стрелки и видела, как минутная дрожит перед скачком, мелко, нерешительно, как человек на краю.

Тишина стояла плотно, не та, к которой она привыкла за два дня, а другая, глубже. Как будто здание замерло не только снаружи, но и изнутри, трубы перестали гудеть, холодильник

ник на первом этаже умолк, ветер за окном выдохся. Ничего. Даже собственное сердцебиение, и то казалось приглушённым, как вата в ушах.

Потом скрип.

Тихий, короткий. Половица, где-то за стеной, в коридоре. Вера знала этот звук: третьей или седьмой ступеньки на лестнице, не в коридоре. Но звук пришёл не от лестницы. Он пришёл справа, из-за стены, за которой ничего. Её комната была последней на этаже. За стеной, внешняя стена, кирпич, штукатурка, утеплитель, ветер, озеро. Скрипеть нечему.

Она замерла. Прислушалась. Минута. Две. Тишина.

Вернулась к книге. Буквы, те же, ряды значков, не складывающихся в смысл. Третья страница без результата. Вера закрыла книгу, положила на тумбочку.

Капля.

Звук, чистый, одиночный, как удар по клавише фортепиано. Капля воды, где-то. Не здесь. Не в комнате. Снизу. Откуда-то из-под пола, из пространства, которого не было, не должно было быть, на схеме здания, которую она видела в документах, первый этаж, последний, ниже, фундамент, грунт.

Капля. Ещё одна. Ритм, неравномерный, с паузами разной длины. Три секунды. Пять. Две. Восемь. Не метроном, что-то живое, дышащее.

Она встала. Босые ноги коснулись линолеума, холодного, липкого. Тапочки были у кровати, но Вера не стала их надевать. Прошла три шага до двери, остановилась, прижалась ухом к дереву.

Тишина. Абсолютная. Ни капель, ни скрипа, ни дыхания. Звук исчез, как только она встала.

Она прислушалась к тому, что было за дверью: коридор, лестница, темнота. Ничего. Вернулась к креслу. Села.

Капля. Ещё. Тот же ритм, три секунды, пять, две, восемь. Снизу. Точно снизу, из-под пола. Вера опустила на колени, прижала ухо к линолеуму. Холод пробрал до кости, и запах, резкий, химический, ударил в ноздри. Но звук, был. Отчётливый, физический, с густотой и плотностью настоящего, не воображаемого. Капля ударялась о поверхность, твёрдую, звонкую, как металл или кафель. Под полом.

И поверх капель, тихо, на грани: голос.

Женский. Без слов. Напев, две ноты, спуск и подъём, повторённые снова и снова. Не мелодия, скорее фон, основа, на которой могла бы быть мелодия, если бы кто-то допел. Как колыбельная, от которой остался только каркас.

Вера лежала на полу, прижавшись ухом к линолеуму, и слушала. Капли и напев, два слоя звука, один ниже, другой выше, и между ними, пустота, пространство, в которое можно было провалиться, если слушать слишком долго.

Она поднялась. Быстро. Голова закружилась, коротко, как после резкого вставания. Звук прекратился. Капли, исчезли. Напев, исчез. Тишина, вернулась, сомкнулась.

Она постояла. Потом снова на колени, снова ухо к полу. Ничего, тихо. Она поднялась, села в кресло.

Капля. Напев. Снова.

Вера не встала. Сидела и слушала. Звук был, реальный. Она проверила: прижимала ухо к полу, к стене, к двери. Когда двигалась, затихал. Когда сидела неподвижно, возвращался. Не галлюцинация: галлюцинация не реагирует на движение, она сопровождает, но не подчиняется. Этот звук, подчинялся. Ждал. Когда она успокоится, начинал.

Женский голос пел две ноты. Капли падали в темноту под полом. И где-то за этим, на самом дне звука, третий слой: шелест. Тонкий, бумажный, как перелистывают страницы. Или как ноготь проводит по штукатурке.

Вера не двигалась до утра.

Серый свет проступил за шторой в шестом часу. Вера видела, как он ползёт по краю ткани, ложится на стену, на потолок. Свет, холодный, водянистый, как разведённое молоко. Она встала. Тело, затекшее, спина, деревянная, ноги, не слушаются. Размялась, походила по комнате. Четыре шага к окну, четыре обратно.

Холодно. Вера видела, как дыхание выходит изо рта облачком, мелким, быстрым, тающим. В комнате было холодно, как и вчера, как и позавчера. Но она не чувствовала холода. Не то чтобы не обращала внимания, не чувствовала. Тело не отвечало на температуру. Она взяла со стола кружку, пустую, вчерашнюю. Металл, ледяной. Пальцы, зафиксировали холод, передали сигнал в мозг. Мозг, зарегистрировал. Но тело, не среагировало. Ни мурашек, ни дрожи, ни желания сжаться. Как будто терморегуляция отключилась, оставив только регистрацию.

Она подошла к зеркалу. Лицо, бледное. Не бледнее вче-

рашнего. Под глазами тени, лиловые, но не глубже, чем были. Зрачки, обычные. Шея, чистая. Ладонь, царапина, вчерашняя, полумесяц, уже подсыхающая, края розовые, корка тёмная. Всё, знакомое, всё, объяснимое.

Часы. Она посмотрела на тумбочку. Шесть тридцать семь. Вера помнила, как ложилась, нет, садилась в кресло, в одиннадцать. Семь с половиной часов. Она провела семь с половиной часов в кресле, не заснув, и не чувствовала усталости. Не чувствовала сна. Не чувствовала его приближения. Как будто ночь, забрала что-то, но не дала ничего взамен. Не забрала, вычистила.

Она посмотрела на руки. На тыльной стороне левой, пыль. Серая, тонкая, как от штукатурки, но другая. Не такая, как на стене у изголовья. Эта, мельче, суше, с кирпичной краснотой. Вера потерла пальцы друг о друга, пыль размазалась по коже, въелась в бороздки. Она понюхала. Запах, сырой, минеральный, глинистый. Подвал. Или земля. Не штукатурка. Другое.

Она не была в подвале. Не спускалась ниже первого этажа. Не открывала дверь в подвал, потому что не знала, где она, и не искала. И не вставала с кресла до утра. Пыль, не могла попасть на руки из подвала.

Тетрадь. Вера раскрыла дневник, написала:

— 17 октября. Ночь 16–17. Приступ, отсутствовал. Засыпание, не произошло (преднамеренное бодрствование, кресло, свет). Звукофеномены: скрип половиц за внешней стеной (источник, не определён), ритмичные капли (источник, под полом, физически подтверждено, прижатие уха к полу), женский вокализ без слов (две ноты, нисходящий-восходящий интервал, повтор), шелест (характер, близок к трению твёрдого по штукатурке). Звук, прекращается при движении, возобновляется при неподвижности.

Ниже:

— Утро. Тактильная аномалия: отсутствие реакции на холод при сохранении температурной чувствительности (озноб, мурашки, дрожь, отсутствуют). На тыльной стороне левой кисти, пыль (глинистая, кирпичная, не совпадает со штукатурной пылью в палате №10). Источник, не установлен. Время появления, не установлено. Воспоминание о контакте с источником, отсутствует.

Она перечитала, сухо, точно, как протокол. Как будто описывала не себя, а подопытного. Перечитала ещё раз, закрыла тетрадь.

Завтрак. Галина, на кухне, в той же форме, в той же позе. Вера вошла, села. Каша, чай. Галина не задала вопросов. Не спросила «как спалось». Вчера спросила. Сегодня, нет. Как будто знала. Или как будто ответ не нужен.

Вера поела. Вкус, был, впервые за три дня: каша, пресная, но тёплая, чай, горький, но обжигающий. Тело, принимало. Рот, чувствовал. Что-то вернулось.

Она поблагодарила и поднялась на третий этаж — палата номер четыре, Лена.

Дверь была открыта, нараспашку, как в первый день. Лена сидела на кровати, ноги скрещены, карандаш, в правой руке. Рисовала. Не подняла головы, когда Вера вошла.

— Доброе утро, Лена.

Лена коротко кивнула, карандаш не остановился. Вера подошла, села на стул у кровати и посмотрела на рисунок.

Женщина. Та же, длинные волосы, длинное платье, белое, переданное пустотой, не заштрихованными участками. Но на этом листе, больше. Женщина стояла у кровати. Наклонилась, над кроватью. На кровати, человек. Маленький, в позе спящего, или нет, не спящего. Лежащий. Руки, вдоль тела.

Глаза, открыты, но Вера увидела это: два крошечных кружка, не закрашенных, на лице лежащего.

Линии были тонкие, точные; рука Лены двигалась быстро, не дрожа, — профессиональная уверенность в каждом штрихе. Лена рисовала так, как дышала: не думая.

— Кто это? — спросила Вера. Кивнула на рисунок.

— Это вы, — сказала Лена.

Не подняла головы. Не изменила тона. Констатация, как вчера, когда сказала «она приходит по ночам». Голос, ровный, без интонации, без вызова. Факт.

Вера смотрела на рисунок. Женщина у кровати, наклонённая. На кровати, она. Узнаваемо, нет, не чертами, Лена не прорисовывала лиц. Но силуэт, линия плеч, длина волос, посадка головы. Что-то, что делало фигуру на кровати, её. Вера не могла объяснить, откуда это чувство, но оно было, плотное, нелогичное, как запах, который узнаёшь, не зная источника.

— А женщина, кто?

— Она.

— Какая она?

Лена подняла глаза. Карандаш замер. В первый раз, за всё время, посмотрела на Веру прямо. Лицо, бледное, прозрачное, тени под глазами, лиловые, глубокие, как синяки. Но взгляд, не стеклянный, не пустой. Осмысленный. Лена смотрела на Веру так, как смотрят на человека, которого видят насквозь.

— Она приходит к тем, кто её уже видел, — сказала Лена.

— Я её видела?

— Вы, да.

— Когда?

Лена отвернулась к рисунку. Карандаш, снова в движении. Линия за линией, штрих за штрихом, быстрый, точный, неостановимый. Она больше не смотрела на Веру.

Вера сидела. Минуту. Две. Лена рисовала. Женщина на листе наклонялась всё ниже, каждый новый штрих опускал её на сантиметр ближе к лицу лежащей. Вера встала, обошла кровать, встала за спиной Лены. Посмотрела на тумбочку.

Десятки листов — как в первый день: стопка, высокая, перевязанная резинкой. Вера протянула руку.

— Можно?

Лена не ответила. Не запретила. Вера сняла резинку. Листы, разные: плотная бумага, тонкая, тетрадная, даже обрывок обоев. На всех, женщина в белом. В разных позах: стоя, сидящая, идущая. Всегда, без лица. Пустой овал.

Вера листала. Снизу, старые, карандаш тусклый, линии неуверенные, как будто рука искала форму. Выше, увереннее, точнее. Женщина обрастала деталями: складки платья, пряди волос, тень на полу. Но лицо, всегда пустое.

Она остановилась.

Лист, тонкий, тетрадный, в клетку. Дата, в правом верхнем углу, карандашом, мелко: «12.03 прошлого года». Март. Восемнадцать месяцев назад. За полтора года до её приезда. На листе, женщина в белом, стоящая у кровати. На кровати, человек. Не лежащий, сидящий. Сидящий в кресле. С книгой на коленях.

Силуэт, женский. Волосы, собраны. Линия плеч, наклон

шей, посадка головы, Вера узнала. Не черты, их не было, как всегда, пустой овал. Но остальное, точно. До мелочи: кресло с подлокотниками, книга в левой руке, правая, на подлокотнике, пальцы расслаблены. Она сидела в кресле. Она с книгой. Она полтора года назад, когда не была здесь, когда не знала о существовании клиники, когда

Лист выскользнул из пальцев. Упал на пол. Вера подняла, не сразу. Несколько секунд стояла, глядя на свои руки. Пальцы не дрожали. Но внутри, что-то дрожало, мелко, на высокой частоте, как камертон.

— Лена, — сказала она. — Этот рисунок. Откуда?

— Я нарисовала.

— Когда?

— Двенадцатого марта.

— Прошлого года.

— Да.

— Откуда ты знала, как я выгляжу?

Лена не ответила. Карандаш двигался, быстрый, точный, неостановимый. Женщина на новом листе наклонялась к лицу лежащей. Ближе, ещё ближе.

Вера взяла рисунок, сложила пополам датой внутрь и сунула в карман халата. Вышла.

Коридор. Двери, серые, одинаковые. Лестница, вниз. Вера миновала первый этаж, кухню, прачечную, кладовку с бельем. В конце коридора первого этажа, дверь, которую она не открывала. Металлическая, с замком, навесным, тяжёлым, ржавым. На двери, табличка: «Подвал. Посторонним вход воспрещён». Буквы, облупились, остались контуры.

Ключ, на связке Галины. Но замок, открыт. Дужка откинута, висит на скобе, ржавая, с каплей застывшего металла на конце. Вера сняла дужку. Толкнула дверь.

Ступени, вниз. Каменные, узкие, с металлическим поручнем, холодным, как лёд. Оттуда, запах: сырой, глинистый, минеральный. Тот самый. Вера почувствовала его на языке, привкус железа и земли.

Она спустилась. Двенадцать ступеней. Подвал, низкий, длинный, с трубами под потолком и голыми лампочками на проводах. Две, горели, третья, мертва. Свет, желтоватый,

дрожащий, с тенями, которые ползали по стенам.

Пол, бетонный, сухой, но следы. Вера посмотрела вниз. На бетоне, пыль, серая, тонкая. И в пыли, отпечатки. Два следа. Босых ног. Маленьких. Женских или детских. Вели от лестницы вглубь, к дальней стене, где стеллажи, металлические, старые, с коробками.

Вера пошла по следам. Пыль поднималась, садилась на подошвы тапочек. Она не останавливалась.

Стеллажи. Коробки, картонные, разные: большие, маленькие, с надписями и без. Первая, «Документы, 2015». Внутри бумаги, счета, накладные. Вторая, «Личное, сотрудников». Без даты. Вера открыла.

Внутри вещи. Немного. Косметичка, женская, потёртая, с молнией, которая не закрывалась до конца. Кружка, фарфоровая, с трещиной, без рисунка. Свитер, тёмно-синий, вязаный, мужской, размера крупного. На дне коробки, конверт, с надписью от руки: «А. С. Лавров. Личное.» Почерк, быстрый, неровный, как у врача.

Вера вскрыла конверт. Внутри фотография. Маленькая, карманная, потёртая по углам. На фото, двое: мужчина и женщина, у стены кирпичного здания. Мужчина, высокий,

в белом халате, с тёмными волосами, усталое лицо. Женщина, невысокая, в синей форме. Галина. Моложе, лет на пять, но она. Те же черты, та же прямая спина. Мужчина, Лавров? Вера не видела его фото, но дата на обороте: «Февраль прошлого года». Февраль, он работал.

Она перевернула снимок. На обороте, подпись, тот же почерк, что на конверте: «Мы справимся. А.»

Ниже, коробка. Подпись: «Палата 10. Личное.» Вера открыла. Внутри, ещё меньше: расчёска, пластиковая, с седыми волосами в зубьях. Тетрадь, тонкая, в мягкой обложке, исписанная. И рисунки. Десятки. Не Ленины, другие. Детские. Карандаш, воск, фломастер.

Вера перелистнула первый. Дом, кирпичный, с трубой. Деревья, тёмные, треугольником, как ёлки. Озеро, голубое, с волнами-зигзагами. Подпись снизу, печатными буквами: «Костя, 6 лет».

Второй. То же, дом, деревья, озеро. Но рядом с домом, фигура. Женщина в белом. Подпись: «Костя, 6 лет».

Третий. Четвёртый. Пятый. Все Костя, шесть лет. Все один и тот же дом, то же озеро. На некоторых, женщина в белом. На одном, мальчик у воды. Маленький, с палкой, на

берегу. Рядом, кто-то в воде. Не человек, просто силуэт, волна, пятно.

Вера перелистнула тетрадь. Почерк, взрослый, но неуверенный, как у человека, который пишет редко. Записи, короткие, датированы. Первая: «14 октября, четыре года назад». Дата поступления Ирины. Ниже: «Косте 6. Рисует дом и воду. Спрашивает, когда придёт та женщина. Я не знаю, о чём он.»

Следующая запись, через неделю: «Костя говорит во сне. Одно слово. Не разобрать.»

Через месяц: «Костя перестал рисовать озеро. Только дом. Только женщину.»

Ещё через три месяца: «Костю забрали. Диагноз, не подтверждён. Отправили в другую клинику. Я осталась.»

И последняя запись, карандашом, на смятом листе, вложенном между страницами: «Я больше не сплю. Я не хочу спать. Если я усну, я увижу его. А если увижу, не смогу перестать.»

Вера закрыла тетрадь. Руки, серые от пыли, кирпичной, глинистой. Той самой. Она стояла в подвале, среди коробок,

среди чужих вещей, и держала тетрадь женщины, которая не спала четыре года. И рисунки мальчика, который рисовал дом на острове, озеро и женщину в белом. Мальчика, которого звали Костя, которому было шесть лет. Четыре года назад. Когда Ирина поступила. Когда всё началось.

Она поднялась по лестнице — двенадцать ступеней — и закрыла дверь. Навесной замок повесила, но дужку не защёлкнула. Потом поднялась в кабинет.

Монитор, загружался, жёсткий диск хрустел. Пока грузился, она мыла руки, в раковине, в маленькой уборной при кабинете, с мылом, трижды, до скрипа. Пыль не отмывалась сразу, въелась в бороздки кожи, в ногтевые ложа. Кирпичная, глинистая. Та, что на руках утром. Она уже была здесь. Она уже была в подвале. Ночью. Во сне, или не во сне. Тело, знало. Память, нет.

Почта. Вера открыла браузер, дождалась загрузки, ввела логин, пароль. Входящая, одно письмо. От Лаврова. Отправлено, четыре двенадцать утра. Пока она сидела в кресле, пока слушала капли и напев, пока прижимала ухо к линолеуму, Лавров писал.

Она открыла. Текст, три строки.

— Не пытайтесь увидеть её лицо. Увидите, останетесь. Спросите Галину, кого она хоронила в марте.

Вера ответила: «Андрей Сергеевич, прошу, поговорите со мной. Мне нужно знать, что с Ириной и что было с Костей. Вера.», и нажала отправить. Страница зависла. Белый экран. Потом жёлтый. Потом сообщение: «Адрес получателя не существует. Письмо не доставлено.»

Она проверила, адрес тот же, с которого пришло. Скопировала, вставила в строку. Отправила снова. Тот же ответ: «Не существует.»

Перечитала входящее. Письмо, было. Три строки. Отправитель, существовал четыре часа назад. Сейчас, не существовал. Как будто письмо, последнее, что от него осталось. Прощальное, как записка, брошенная в воду.

— Кого она хоронила в марте.

Март. Лавров уехал в марте. Кто-то, хоронил. Кого?

Вера закрыла почту, закрыла браузер. Монитор погас сам — тихо, как задувают свечу. Кабинет тонул в темноте, и только лампа на столе держала зелёный круг.

Она спустилась на первый этаж. Кухня. Галина мыла посуду, спиной к двери, в той же позе, в том же ритме. Вода текла.

— Галина Михайловна.

Руки не остановились. Тарелка, в воде, тряпка, по краю.

— Кого вы хоронили в марте?

Тряпка замерла. Вода текла. Тарелка, в руке, неподвижная. Вера видела, как побелели костяшки, пальцы сжались до предела, резиновая перчатка натянулась.

Галина не повернулась. Вода текла. Где-то в стене щёлкнула труба, коротко, отрывисто, как выстрел.

Глава 6. Тридцать лет

Кран закрылся. Вода перестала течь, и звук, который она заполняла, исчез, уступил место чему-то более тяжёлому, чем собственное отсутствие. Галина поставила тарелку на сушилку. Тихо, без звука, хотя фаянс о металл должен был звякнуть. Поставила так, что не звякнул.

Сняла перчатки. Повесила на кран, привычным движением, тем же, что и вчера, и позавчера, и, наверное, каждый день вот уже тридцать лет. Руки под перчатками были красные, сморщенные, с белыми полосками на сгибах пальцев, следы резины.

И села.

В первый раз за всё время, села. Не осталась стоять, не прислонилась к стене, не нависла над плитой. Выдвинула из-за стола табурет, деревянный, с вытертым сиденьем, и села напротив Веры. Медленно, как садятся, когда тяжело. Колени, вместе, ладони, на коленях, спина, прямая. Галина и сидя держала осанку, как солдат.

— Костя, — сказала она.

Имя упало между ними, как камень в тарелку.

— Вы знаете, кто это? — спросила Вера.

— Знаю. Галина смотрела на свои руки. Не на Веру, на руки. Как будто говорила с ними, а не с ней. — Костя был сын поварихи. Нины. Нина Васильевна Семёнова, работала здесь с двадцати трёх лет. Готовила на всю клинику. Хорошо готовила, сытно, просторно. Костя, её единственный. Отец, неизвестно, Нина не рассказывала.

— Он был пациентом?

— Нет. Он жил. Здесь, при матери. Куда ему деваться, на острове, без мужа, без родственников. Нина жила на первом этаже, в комнате у кухни. Костя, с ней. Бегал по клинике, рисовал, игрался. Ему было пять, потом шесть. Все его знали. Все любили.

Галина говорила ровно, без пауз, без интонации, читала, как по бумажке, хотя бумажки не было. Готовилась. Давно. К этому разговору, не к этому конкретному, а вообще: к разговору, в котором придётся сказать.

— Он начал рисовать, в пять с небольшим. Сначала, дом,

деревья, озеро. Обычные детские рисунки. Потом женщина. Длинные волосы, длинное платье. Белое. Он рисовал её снова и снова, десятками. Мы думали, воображение. Мальчик, живущий при клинике, без детей, без сада, кому ещё рисовать.

— А потом?

— Потом появилась Ирина.

Галина подняла голову. Посмотрела на Веру, прямо, в лицо. Серые глаза, морщины-трещины, ни тепла, ни холода. Терпеливые. Как у человека, который ждёт, пока собеседник сам дойдёт.

— Ирина приехала в октябре. Четыре года назад. Тяжёлая инсомния, направление из Петрозаводска. Первые недели, обычная пациентка. Разговаривала, ела, ходила по коридорам. Спала, мало, но спала. А потом Костя, ему было шесть к тому времени, Костя подошёл к ней в столовой. Посмотрел и сказал: «Ты пришла.»

— Что пришла?

— Он так сказал. «Ты пришла». Ирина не поняла. Мы не поняли. Но Костя, перестал рисовать озеро. Только дом. И

женщину. И Ирину, рядом с женщиной. Они стояли рядом, на его рисунках. Ирина, маленькая, с прямыми волосами. Женщина, высокая, с длинными. Он рисовал их вместе, всегда вместе. Как будто они были, одно.

Вера слушала. Руки на столе, неподвижные, плоские, прижатые к дереву. Доски стола были шершавые, с въевшейся грязью в прожилках. Она чувствовала каждую неровность.

— Через три месяца, Галина говорила тише. — Нина забрала Костю. Собрала вещи за один день. Уехала утренним паромом. Куда, не сказала. Я спрашивала. Она не ответила. Только смотрела на Костю так, как смотрят на больного, когда знают, что не вылечат. Он держал её за руку и не оборачивался.

— Почему она увезла его?

— Он перестал спать. К концу третьего месяца, совсем. Ребёнок шести лет, не спал. Ночью ходил по коридорам. Я находила его у палаты Ирины, стоял и смотрел на дверь. Не на Ирину, на дверь. Как будто ждал, что кто-то выйдет.

Труба в стене щёлкнула. Снова. Тот же звук, короткий, сухой, как выстрел вдалеке. Галина не отреагировала. Привыкла.

— А через две недели после того, как Костя уехал, Ирина перестала говорить.

— Перестала, как?

— Утром разговаривала. За завтраком попросила кашу. После обеда, молчала. Не отвечала на вопросы. Не поворачивалась. К вечеру села на кровать, лицом к стене, и всё. С того дня. Четыре года.

— И начала царапать?

— Не сразу. Через месяц. Первая царапина, тонкая, одна. Я увидела, — спросила. Она не ответила. На следующий день, ещё. И ещё. С каждым днём, больше. Я доложила врачу, тогда был доктор Кравцов, не Лавров, другой. Он осмотрел стену, осмотрел Ирину, пожал плечами. «Стереотипия», — сказал. «Кататонический спектр. Медикаменты». Выписал таблетки. Она не пила. Я приносила, она держала во рту, выплёвывала, когда я уходила. Я находила их на полу, размягчённые, в слюне. Потом перестала приносить.

— Почему?

— Потому что царапины, не от болезни. Галина помолча-

ла. Впервые, пауза, короткая, как вдох перед погружением. — Костя говорил про женщину в белом одну вещь. Он говорил: она не приходит.

— Не приходит?

— Она не приходит. Она ждёт. Она была здесь всегда.

Воздух в кухне был плотным, тёплым, пах хлоркой и застарелым жиром. Плита остывала, лёгкий щелчок металла, сжатие, как сжавшийся кулак.

— Ирина её увидела первой, — сказала Галина. — Потом Лавров. Потом вы.

— А вы?

Галина посмотрела на свои руки. Красные, сморщенные, с белыми полосками. Руки, которые мыли полы и тарелки тридцать лет. Руки, которые знали этот остров лучше, чем кто-либо.

— Я нет, — сказала она. — Потому что я не сплю. Совсем. Уже тридцать лет.

Тридцать лет. Вера пересчитала молча: Галине пятьдесят

пять. Тридцать лет, с двадцати пяти. Молодая женщина, двадцати пяти лет, перестала спать. И не спит до сих пор. Не спит и не сходит с ума. Не спит и работает. Не спит и остаётся, здесь, на острове, в клинике, где врачи приходят и уходят, а она остаётся.

— Тридцать лет, — повторила Вера вслух.

— Да.

— Как?

— Не знаю. Просто, не сплю. Ложусь, закрываю глаза, лежу. Не сплю. Думаете, сумасшествие? Нет. Я в своём уме. Я работаю, я готовлю, я мою полы. Я знаю, какой день недели, какой год, кто президент. Я просто, не сплю.

— Это невозможно.

— Да, — сказала Галина. — Невозможно.

И встала. Табурет отъехал назад, ножки скрипнули по плитке. Она надела перчатки, обратно, палец за пальцем, привычно, как надевают вторую кожу. Включила кран. Вода потекла.

Разговор окончен.

Комната на втором этаже. Дверь, закрыта, замок, повернут. Вера стояла посередине, между кроватью и креслом. Было три часа дня. За окном, серое небо, низкое, как потолок подвала.

Она легла. Не в кресло, в кровать. Впервые за три ночи. Одеяло откинула, жарко, хотя термометр на подоконнике показывал шестнадцать. Жарко, не от температуры. От чего-то внутри. Горение без пламени, как тлеющий торф.

Потолок. Серый. Трещина, та же, от угла к центру. Вера лежала на спине, руки вдоль тела, глаза открыты. Считала трещины, не осознанно, просто взгляд скользил по ветвям, по ответвлениям, по тонким нитям, как по карте реки. Реки, нет. Не думать о реке. Не думать о воде.

Время шло, странно. Не медленно и не быстро, иначе. Как будто минутная стрелка перескакивала через деления, не задерживаясь, не отсчитывая. Вера посмотрела на часы: четыре двадцать. Посмотрела ещё раз, пять сорок. Полтора часа, как один вдох. Она не заснула. Она не задремала. Она лежала с открытыми глазами, и время ушло, провалилось, как вода в песок.

Зеркало. Маленькое, прямоугольное, в металлической раме, над раковиной. Вера встала, подошла. Посмотрела на себя. Лицо, бледное, тени под глазами, губы, обветренные, потрескавшиеся. Всё, знакомое. Всё, на месте.

Она подняла правую руку.

Отражение, подняло правую руку.

Но не сразу. Не одновременно. На долю секунды, на четверть, на треть, позже. Отражение подняло руку после неё. Пауза, микроскопическая, незаметная для глаза, но Вера увидела. Потому что смотрела. Потому что искала. Потому что врач.

Она опустила руку. Отражение опустило. Снова, позже. Ещё на четверть секунды. Как будто зеркало соображало. Как будто изображение думало.

Вера подняла левую руку. Отражение, повторило. Пауза, длиннее. Почти секунда. Она стояла перед зеркалом, обе руки подняты, и смотрела, как её двойник догоняет, поднимает руки, одну за другой, медленно, не торопясь, как человек, который делает движение, которое ему не нравится.

Она опустила руки. Отражение, опустило. Но не до конца.

Ладони остановились на уровне плеч, на мгновение, и опустились. Как будто задумались. Как будто, не хотели.

Вера отступила. Шаг назад. Отражение, отступило. Одновременно. Пауза исчезла. Синхронность вернулась. Она подняла руку, отражение подняло. Моргнула, отражение моргнуло. Всё, как должно быть. Как будто ничего не было.

Она стояла перед зеркалом и не знала, чего больше, того, что увидела, или того, что увидела и убедила себя не видеть.

Тетрадь. Дневник наблюдений. Вера раскрыла на третьей странице, вторая была заполнена утром, и написала:

— 17 октября. Послеполдень. Зеркальная аномалия. При поднятии руки, отражение отстаёт на 0,2–0,4 с. При опускании, пауза увеличивается до 0,5–0,7 с. После повторной проверки, синхронность восстанавливается. Оценка: возможна зрительная иллюзия, связанная с депривацией сна (ложное восприятие временной последовательности). Но: иллюзия не сохраняется при повторной фиксации, а наблюдаемая аномалия, исчезла при переключении внимания. Требуется повторной проверки.

Она остановилась. Ручка замерла над строкой. Написала ещё:

— Или не требует.

Закрывает тетрадь. Положила на тумбочку. Села на край кровати. Пружины под матрасом скрипнули, тонко, жалобно, как старая дверь.

Она больше не была уверена. Не в диагнозе, в себе. Тело, которое не чувствует холода. Руки, покрытые подвальной пылью. Зеркало, которое медлит. Время, которое проваливается. Всё, объяснимо. Каждое, по отдельности. Но вместе, вместе они складывались в то, чему не было объяснения. Или объяснение было, но не то, которое она готова принять.

Вера встала. Накинула халат, вышла.

Палата номер десять. Третий этаж. Дверь, приоткрыта, как в прошлый раз. Толкнула. Вошла.

Ирина сидела. Лицом к стене. Та же поза, спина прямая, руки на коленях. Губы, шевелились. Ритм, тот же. Раскрываются, складываются, пауза. Беззвучно. Бесконечно.

Вера не села на стул. Стул отодвинула, ножки проскрипели по линолеуму, и опустилась на пол. Прямо на холодный, пыльный линолеум, у стены, рядом с кроватью, рядом с

Ириной. Уровень глаз, ниже, чем у сидящей на кровати. Она смотрела снизу, на колени Ирины, на её руки, на побелевшие костяшки, на тёмные ободки под ногтями.

— Я нашла рисунки Кости, — сказала она. Тихо, как говорят с человеком, который не слышит, на всякий случай. — Он рисовал дом. Этот дом. И озеро. И женщину в белом. Ему было шесть.

Губы Ирины не изменили ритма. Раскрываются, складываются, пауза.

— Он говорил, что она ждёт. Что она была здесь всегда. Я хочу понять, что это значит. Помоги мне, Ирина. Если можешь.

Ничего. Минута. Две. Три. Линолеум под ногами, ледяной, но холода не было. Тело не регистрировало. Вера сидела и говорила, о доме, о мальчике, о воде, о том, как выглядит остров с озера, как туман ложится на деревья, как причал скрипит под ветром. Говорила, как говорят в тёмную комнату, не потому что слышат, а потому что молчание тяжелее слов.

Ирина не реагировала. Губы, тот же ритм. Глаза, в стену.

Вера посмотрела на стену. На царапины. Сотни, тонких, параллельных, сверху вниз. Борозды, как на старой плашке, как на стёртом камне. Она считала, не все, невозможно, но те, что в поле зрения: сорок, пятьдесят, больше. Все одного направления. Все одной глубины. Все сверху вниз.

Кроме одной.

Внизу. В правом углу, у плинтуса. Одна линия, белёсая, влажная, с крошками свежей штукатурки на бороздке. Не сверху вниз. Снизу вверх. От пола, к поясу. Противоположное направление. Противоположное, всему.

Как будто её провели с пола. Как будто кто-то, или что-то, провёл линию снизу, от плинтуса, вверх, по стене, мимо всех старых борозд, перечёркивая их. Одна линия. Свежая. Ночная.

Вера протянула руку. Дотронулась до бороздки. Штукатурка крошилась под пальцем, осыпалась, белыми крупинками, как снег. Внутри борозды, кирпич, красный, сырой, как промокший насквозь.

Она опустила руку. Посмотрела на Ирину. Та не двигалась. Губы, тот же ритм. Но Вера видела: на безымянном пальце правой руки, на той самой подушечке, где вчера была

штукатурная пыль, красное. Тонкая полоса, свежая, как царапина от кирпича. Или от ногтя, который царапал кирпич.

Ирина царапала стену снизу. Не как все остальные, сверху. Снизу. Из-под пола.

Вера встала. Колени хрустнули, сухо, коротко. Она стояла в палате номер десять, рядом с женщиной, которая не спала четыре года и царапала стену каждую ночь, и чувствовала: что-то сдвинулось. Не в Ирине, в ней. Что-то, что было ровным, накренилось. Что-то, что было прямым, изогнулось. Что-то, что было её, перестало быть только её.

Она вышла и закрыла дверь. Спустилась на первый этаж. Кухня была пуста — Галина ушла. На столе стояла тарелка с хлебом, накрытая салфеткой: для Веры, два сухих ломтика. Она не взяла.

Поднялась к себе. Восемь вечера. За окном, тьма, абсолютная, как в колодце. Штора задёрнута. Свет, настольная лампа, зелёный круг.

Она легла. В кровать, не в кресло. Впервые за три ночи, в кровать, на спину, руки вдоль тела. Одеяло, натянула до пояса. Подушка, приняла голову, знакомая, пахнувшая тем же сладковатым запахом, которому она не дала названия и не

даст.

Решение принято. Не бороться. Не сидеть в кресле, не считать трещины, не пить остывший чай. Лечь. Закрыть глаза. Если придёт, пусть. Она будет смотреть.

Не закрывая глаз, пока не закрывая, она достала из-под подушки тетрадь. Написала, быстро, без перерыва:

— 17 октября. Вечер. Решение: прекратить сопротивление засыпанию. Цель, наблюдение за собственным состоянием в естественных условиях. Если эпизод повторится, не противодействовать. Фиксировать всё, что возможно, по пробуждении.

Ниже, короче, почти для себя, почти не в формате дневника:

— Царапина на стене палаты №10, снизу вверх. Свежая. Ирина, царапала. Ночью. Откуда, снизу?

И последняя строка, которую она написала и не зачеркнула:

— Зеркало.

Закрыла тетрадь. Положила на тумбочку. Выключила лампу. Темнота. Тишина. Тело, на кровати, тяжёлое, тёплое, неподвижное. Глаза, закрыты.

Сон пришёл.

Не как прилив, не как волна, не как тьма. Сон пришёл как дверь, открылась, и Вера вошла. Без сопротивления, без рывка, без границы. Просто, перестала быть здесь и оказалась, там.

Дом. Кирпичный, трёхэтажный, с тёмной крышей и узкими окнами. Знакомый, до боли, до каждой линии. «Тихий берег». Но не клиника. Не больница. Дом, жилой, тёплый, с дымом из трубы, с занавесками на окнах, с цветком на подоконнике. Каким он мог быть, до. До пациентов, до палат, до царапин.

Озеро. Голубое, не серое, не свинцовое, а голубое, июльское, с белой рябью. Берег, песчаный, жёлтый, с камышами у кромки. И мальчик. Маленький, в шортах, нет, в трусах до колен, в майке. С палкой. Стоит у воды. Бьёт палкой по мелководью, брызги, капли, солнце в каждой капле.

Вера стояла на берегу. Не двигалась. Смотрела. Мальчик не оборачивался. Сидел на корточках, разбирал камни, бро-

сал их в воду. Плеск, тихий, ровный, как метроном. Вода, прозрачная, мелкая, с песком на дне. Глубины, не было. Не здесь, не сейчас.

Мальчик повернул голову. Не к ней, в сторону, к камышам, как будто слышал что-то. Потом медленно, обернулся. Лицо, круглое, загорелое, с веснушками на носу. Глаза, серые, большие, с длинными ресницами. Волосы, светлые, стриженные коротко, торчат на макушке.

Лицо, знакомое. Не отсюда. Не из клиники, не с рисунков Кости. Из раньше. Из до. Из фотографии во внутреннем кармане сумки, которую она не доставала с тех пор, как приехала. Из семь лет назад. Из июля, из воды, из

Мальчик улыбнулся. Улыбка, узкая, с ямкой на левой щеке. Та же ямка. Те же глаза. Тот же поворот головы, чуть вбок, чуть вверх, как у птицы, которая слышала звук.

Вера открыла рот. Хотела сказать, имя. Губы сложились. Воздух шёл из горла, но звука не было, как при параличе, и она не знала, спит она или нет, и где граница, и есть ли она, эта граница, и

Мальчик встал. Бросил палку. Пошёл к воде, по колено, по пояс, по грудь. Не оборачиваясь. Вода смыкалась за его пле-

чами, тёплая, прозрачная, безопасная, мелкая, мелкая, мелкая.

Он шёл дальше.

Глава 7. Мокрый след

Подушка была мокрой.

Вера поняла это, не открывая глаз. Щека, холодная, сы-
рость просочилась сквозь ткань наволочки, прилипла к ко-
же. Запах, не пот, не слёзы. Вода. Озёрная вода: тиной, пес-
ком, чем-то живым, зелёным.

Она открыла глаза. Потолок. Трещина, та же, от угла к
центру. Серое утро за шторой. Одеяло, до пояса, как она его
натянула. Руки, вдоль тела. Тело, на спине, в той же позе, в
которой заснула.

Мокрое пятно, рядом с её головой. Слева, на краю подуш-
ки, у самого изголовья. Размером, с ладонь. Форма, вытяну-
тая, как отпечаток ладони, но не ладонь. Прядь. Прядь волос,
длинная, прижатая к подушке, высохшая ночью. Сохранила
форму, волнистая, с загибом на конце. Тёмная. Не её, у Ве-
ры волосы тёмные, но короткие, собранные на затылке. Эта
прядь, длиннее. Длиннее, чем её собственные, распущенные.

На простыне, тоже мокро. Тонкая полоса, от изголовья к
плечу, как будто кто-то провёл мокрой тканью. Или мокрой

рукой. Или мокрыми волосами.

Вера села. Коснулась подушки. Пятно, холодное, но не мокрое. Уже высохло, почти. Ткань, чуть влажная, чуть прохладнее, чем вокруг. Но запах, остался. Тина. Песок. Озеро.

Она встала. Прошла к раковине, открыла кран. Вода полилась, тёплая. Не холодная, как вчера, как позавчера, тёплая. Вера подставила ладонь. Тёплая, почти тёплая. Градусов двадцать. Котёл в подвале не мог дать такую температуру, утром, без подогрева, трубы холодные, вода должна быть ледяной. Она подождала. Секунда, две, пять. Вода, тёплая. Постоянно тёплая.

Она поднесла ладонь к лицу. Понюхала. Тина. Песок. Рыба, слабый, едва уловимый, как от рыболовной сети, которую просушили на солнце. Озеро. Из крана текло озеро.

Закрыла кран. Открыла, снова. Вода, обычная, холодная, прозрачная, без запаха. Хлорка, ржавчина, старые трубы. Тёплая вода с запахом тины, исчезла. Как будто не было.

Вера опустилась на колени, заглянула под раковину. Трубы, сухие, чистые, без конденсата. Соединения, герметичные, без подтёков. Пол, сухой. Ничего. Она поднялась, посмотрела на кран, ещё раз. Холодная. Чистая. Обычная.

Тетрадь. Дневник. Вера раскрыла на чистой странице:

— 18 октября. Утро. После сна, мокрое пятно на подушке (слева, у изголовья), отпечаток пряди волос (длинных, не моих), влажная полоса на простыне от изголовья к плечу. Запах, тина, песок, озёрная вода. Вода из крана, тёплая (ок. 20°), с запахом тины. При повторном открытии, холодная, без запаха. Трубы, сухие.

Она не стала писать «возможные объяснения». Не стала писать «гипнагогическая» или «иллюзия». Только факты. Только то, что можно пощупать, понюхать, измерить. Факты, остались. Факты, не объяснялись. Это было, новое.

Она закрыла тетрадь. Села на край кровати. Руки, на коленях, спокойные, ровные. Тело, не дрожало. Сердце, билось мерно, шестьдесят два удара, она посчитала, не специально, просто слышала.

Сон.

Дом на острове. Озеро. Мальчик.

Вера закрыла глаза, не чтобы спать, чтобы видеть. Сон стоял за веками, как фотография за стеклом. Дом, кирпич-

ный, тёплый, с дымом. Озеро, голубое, мелкое, с белой рябью. Мальчик, маленький, в трусах до колен, в майке. С палкой. Бьёт по воде. Камни. Брызги. Солнце в каждой капле.

Лицо.

Она знала это лицо. Знала, телом, не головой. Знала, так, как знают запах матери, тепло чужой руки, звук собственного имени в чужом голосе. Не глазами, не памятью, кожей, костью, кровью. Семь лет она не позволяла себе знать. Семь лет, отворачивалась, переключала, загоняла. Не сейчас. Сейчас позволила.

Мальчик стоял на берегу. Ему было шесть. Светлые волосы, стриженные коротко, торчат на макушке. Серые глаза, большие, с длинными ресницами. Ямка на левой щеке, когда улыбался. Он улыбался. Всегда улыбался, даже когда баловался, даже когда разбивал колено, даже когда его ругали. Улыбка, узкая, с ямкой, и глаза, щурились, и нос, морщился.

Он звал её, словом. Не по имени. Словом, которое она не произносила семь лет и не произнесёт. Два слога. Губные, мягкие, с придыханием в начале. Он говорил это слово, бегая по коридору, вбегая в комнату, просыпаясь, засыпая, плача, смеясь. Он говорил его, как дышал. Без пауз, без усилий. Для него это слово было, ею. Она была этим словом.

Вера открыла глаза. Сухо. Ничего, ни слёз, ни спазма. Только горло, стянуло, как перетянули шнурком. Тесно, но терпимо.

Июль. Семь лет назад. Река, не Ладога, другая, маленькая, мелкая, тёплая. Загородный дом, снятым, нет, снятый на неделю. Дача друзей. Семья. Брат, шесть лет. Она двадцать семь. Интернатура, недосып, экзамены. Она поехала, потому что мать попросила. «Присмотри за ним.» Она присматривала.

Накануне, она не спала. Всю ночь. Не потому что тревога, не потому что бессонница. Просто, не спала. Лежала в комнате на втором этаже, смотрела в потолок, считала трещины, привычка, которая появилась ещё в интернатуре. Не спала, и видела. Не сон, видела. За закрытыми глазами. Дом, реку, мальчика на берегу. Тот же мальчик. Та же палка. Те же камни. Она видела это, как сон, но без сна, наяву, с открытыми глазами и с закрытыми. Не придавала значения. Усталость. Перенапряжение. Недосып. Всё, объяснимо.

Утром он побежал к воде. Она стояла на берегу, на песке, в тени от ивы. Он в воде, по колено, по пояс. Смеялся, брызгался. Она стояла. Не пошла в воду. Не потому что не хотела, потому что не могла. Тело не двигалось. Не как при

параличе, иначе. Как будто что-то держало её за плечи. Не отпускало. Она стояла и смотрела, как он, по пояс, по грудь. По подбородок.

И дальше.

Она не пошла. Стояла. Смотрела. Тело, не двигалось. Крик, не шёл. Как будто, все эти годы, она стояла на берегу. Не двигалась. Не кричала. Не шла в воду.

Вера встала с кровати. Резко. Пружины скрипнули. Она подошла к окну, отдёрнула штору, за стеклом серое озеро, туман, тёмные деревья. Не голубое, не тёплое, не июльское. Октябрьское. Свинцовое. Мёртвое.

Она задёрнула штору обратно. Плотнo, до края, чтобы не было щели. Чтобы не видеть.

Она оделась: халат, тапочки; волосы собрала заколкой, туго. Вышла.

Кухня. Галина, не было. Тарелка с хлебом, та же, или новая, Вера не различала. Чайник, холодный. Она не стала включать. Не стала есть. Вернулась в коридор, к лестнице. Остановилась.

Галина стояла внизу, на первом этаже, у прачечной, и сортировала бельё — полотенца, простыни, наволочки, белые и серые, в стопки. Двигала руки методично, не глядя.

— Галина Михайловна.

Руки не остановились.

— Кто работал здесь до Кравцова?

Полотенце, сложено, положено в стопку. Второе, развёрнуто, встряхнуто, сложено. Движения, те же, ритм, тот же. Но что-то сдвинулось, в плечах, в дыхании. Чуть глубже вдох. Чуть длиннее пауза между полотенцем и полотенцем.

— Зачем вам?

— Мне нужно знать, кто был здесь первым. Кто работал в клинике, когда она ещё называлась по-другому. Кто, начинал.

— Начинал, я, — сказала Галина. Не оборачиваясь. — Я первая. С семьдесят восьмого года.

— С семьдесят восьмого, это санаторий?

— Дом отдыха. Потом санаторий. Потом клиника. Названия меняются. Здание, одно.

— А врачи?

— Врачи, менялись. Всегда.

— Кто был первый?

Галина положила полотенце. Выпрямилась. Повернулась, медленно, как башня, по оси. Лицо, тяжёлое, морщины, серые глаза. Тот же взгляд, терпеливый, ждущий.

— Астахов, — сказала она. — Доктор Астахов Геннадий Павлович. Психиатр. Приехал в семьдесят девятом, через год после меня. Работал, пятнадцать лет. Потом уехал.

— Куда?

— В Петрозаводск. На материк.

— Он жив?

— Насколько я знаю, да. Ему сейчас, за семьдесят. Может, за восемьдесят. Я не уверена.

— Вы поддерживаете связь?

— Нет. С тех пор, как он уехал, ни разу.

— Почему он уехал?

Галина отвернулась. Взяла простыню, развёрнула, встряхнула. Белая ткань взметнулась в воздух, опала. Она складывала, углы к углам, край к краю, ровно, как хирург.

— Он был первым, кто начал записывать, — сказала она. Голос, тише, чем обычно, как у человека, который говорит о чём-то, что давно не произносил и отвык. — Всё, что здесь происходит. Он вёл дневник. Как вы.

Слова повисли в воздухе прачечной, среди белой ткани, среди запаха порошка и сырости. Дневник. Как она. Как Вера.

— Где этот дневник?

— Не знаю. Он увёз с собой. Всё увёз, бумаги, записи, всё. Уехал с чемоданом и коробкой. Я не спрашивала. Он не рассказывал.

— Но вы знаете, что он записывал.

— Знаю. Потому что я видела. Он сидел в своём кабинете, там же, где теперь ваш, третий этаж, дверь без таблички, и писал. Каждое утро. До обхода, до завтрака. Сидел и писал. Иногда, всю ночь. Иногда, не выходил из кабинета по двое суток. Он тоже, не спал.

— Тоже?

Галина сложила простыню. Положила в стопку. Повернулась к Вере, и на этот раз посмотрела прямо, в упор, не отводя.

— Я не сплю тридцать лет. Астахов, не спал последние пять лет здесь. До него, спал нормально. Потом перестал. Как все.

— Как все, это кто?

— Все, кто задерживался. Все, кто, начинал видеть.

Вера не стала спрашивать, что «видеть». Она знала. Она видела.

Петрозаводск. Астахов Геннадий Павлович. Психиатр. Семьдесят девятый, девяносто четвёртый, примерно. Пятна-

дцать лет. Уехал с дневником. Не спал последние пять. В Петрозаводске. Бывший врач клиники «Тихий берег», первый, кто начал записывать.

Кабинет. Третий этаж. Монитор, тусклый, с пылью на экране. Вера включила компьютер. Загрузка, долгая, жёсткий диск хрустел, как гравий под подошвой. Пока грузился, она перебрала ящики стола, верхний, нижний, глубже. Ничего. В шкафу, те же папки, счета, накладные. Ничего, что связано с Астаховым.

Браузер. Страница открывалась минуты полторы. Вера ввела: «Астахов Геннадий Павлович психиатр Петрозаводск». Загрузка. Белый экран. Жёлтый. Текст.

Две ссылки. Первая, список сотрудников санатория «Тихий берег» за восемьдесят девятый год, отсканированная страница из старого отчёта. Имена, отпечатаны на машинке, буквы сбиты, неровные. «Астахов Г. П., врач-психиатр, заведующий отделением». Фотография, рядом, чёрно-белая, мелкая. Мужчина, лет сорока пять, пятьдесят, с бородой, короткой, седой. Очки, в роговой оправе. Лицо, узкое, с глубокими складками от носа к подбородку. Взгляд, прямой, тяжёлый. Не улыбается.

Вторая ссылка, сборник материалов конференции «Пси-

хиатрия и сомнология: пограничные состояния», Петрозаводск, двенадцать лет назад. Список участников: «Астахов Г. П., врач-психиатр (на пенсии), г. Петрозаводск». Тема доклада: «Хроническая инсомния в условиях изоляции: наблюдение из практики». Ни текста доклада, ни контактов. Только имя, город.

Вера открыла почту. Написала, коротко, деловито, без объяснений. «Геннадий Павлович, меня зовут Вера Соколова, я работаю в клинике „Тихий берег“. Я нашла упоминание о вашем докладе на конференции двенадцать лет назад. Мне необходимо с вами поговорить. Речь, о том, что вы записывали. О дневнике. Пожалуйста, ответьте.» Адрес, она нашла в общих списках участников конференции, прикреплённых к сборнику. Отправила. Статус, «доставлено». Ждать.

Она откинулась на спинку стула. Потолок, трещины, сеть линий, карта высохших рек. Где-то в Петрозаводске, или не в Петрозаводске, старый человек с бородой, который не спал пять лет и вёл дневник. Который уехал, увёз записи, и замолчал. Двенадцать лет, ни одной публикации, ни одного выступления, ни одного упоминания. Как Лавров, только Лавров исчез после, а Астахов — до. Два врача, которые знали и молчали. Или знали и не могли.

Вера закрыла монитор, спустилась на первый этаж, про-

шла коридор и поднялась по лестнице на третий. Палата номер десять.

Дверь, приоткрыта. Толкнула. Вошла.

Ирина. Та же поза, то же лицо к стене, те же губы, раскрываются, складываются, пауза. Воздух в палате, спёртый, густой, с тем же сладковатым запахом, который Вера уже не пыталась идентифицировать. Тепло, не от батареи, от чего-то другого. От стен, от тела Ирины, от царапин.

Царапины.

Вера подошла к стене. Присела, как вчера, на пол, у плинтуса, в правом углу. Та линия, снизу вверх, была на месте. Белёсая, с крошками штукатурки. Но не одна. Со вчерашнего вечера, длиннее. Линия пошла не только снизу вверх, она повернула. На уровне пояса, излом, угол, и дальше, по диагонали, вправо. К двери. Тонкая, свежая, с сырой штукатуркой в бороздке. Проведена, ночью. Пока Вера спала. Пока видела мальчика у воды.

Линия уходила к двери. Не доходя, обрывалась. На стене, в тридцати сантиметрах от дверного косяка. Но направление, ясное. Линия шла к выходу.

Вера встала. Подошла к двери. Посмотрела на косяк, на наличник, на щель между дверью и полом. Ничего, чисто, серое дерево, облупившаяся краска. Потом вниз. На плинтус. Деревянный, узкий, прибит гвоздями, с зазорами. В зазорах, пыль, серая, тонкая. И на плинтусе, поверх пыли, белёсая полоса. Тонкая, как нитка. Мел, или штукатурка, или то, чем Ирина царапала стену. Полоса шла по плинтусу, вправо, к двери, через порог, в коридор.

Она вышла. Опустилась на корточки. Полоска, на плинтусе, в пыли, шла дальше. По коридору, мимо палаты номер восемь, мимо шестой, мимо четвёртой. Тонкая, прерывистая, не везде, кое-где исчезала, кое-где снова появлялась, но шла. Ровно, по левому плинтусу, к лестнице.

У лестницы полоса спустилась с плинтуса на пол. На линолеуме, не видно: тёмный фон, пыль. Но Вера знала, где искать. У первой ступеньки, на носке, на краю, белёсая точка. На третьей, ступенька, которая не скрипит, ещё одна. На седьмой, тоже молчащей, ещё. Вниз.

Лестница. Первый этаж. Коридор. Полоса, по левому плинтусу, мимо кухни, мимо прачечной, мимо кладовой с бельём. В конце коридора, дверь. Металлическая. С навесным замком. Табличка: «Подвал. Посторонним вход воспрещён.» Буквы, контуры, облупились. Замок, висит на скобе,

дужка откинута. Не заперто.

На пороге, у самой двери, на плинтусе, последняя белёсая точка. Полоса, кончалась здесь. Или начиналась. Или уходила, вниз, за дверь, в темноту, в сырость, в запах глины и железа, туда, где Вера уже была, во сне, или не во сне, и не помнила.

Она стояла у двери в подвал. Замок, открыт. Темнота за порогом. Двенадцать ступеней вниз. Запах, снизу, густой, терпкий, земляной. И тишина. Не та, что в комнатах, не та, что в коридорах, другая. Глубже. Как тишина воды на дне.

Вера положила руку на дверной косяк. Дерево, холодное, шершавое. Палец, скользнул по краю, по занозе, по облупившейся краске. Темнота за дверью, ждала. Не давила, не звала. Ждала, как ждут того, кто всё равно придёт.

Часть II. Тот, кто стоит слева

Глава 8. Свод

Двенадцать ступеней. Она считала, не потому что нужно, а потому что ноги считали сами, как считали трещины на потолке и скрипы на лестнице. Тёмный камень под ногами, гладкий, стёртый посередине, с бороздами по краям, где не ступали. Перила, железные, холодные, с шершавыми напыльями ржавчины на сгибах. Рука скользила по металлу, и ржавчина оставляла на ладони рыжий след, как от сухой глины.

Подвал.

Днём, другой. Вчера, ночью, он был тёмным пятном, запахом, воображением. Сейчас, конкретный. Трубы под толком, чугунные, толстые, в утеплителе, который крошился и свисал клочьями, как ветхая ткань. Лампочки, две горящие, одна мёртвая. Жёлтый свет, неровный, с тенями, которые ползали по стенам, когда лампа дрожала на сквозняке. Сквозняк, снизу, из глубины, тянул по полу, холодный, сырой, с привкусом железа.

Полоса. Белёсая, тонкая, на бетоне, видна отчётливо, лучше, чем на плитусе. Шла от лестницы, мимо стеллажей, мимо коробок, тех самых, «Документы», «Личное сотрудничество», «Палата 10». Вела дальше, вглубь, туда, куда Вера не дошла ночью. За стеллажи. За последний ряд, за угол, в ту часть подвала, где лампы не было и свет не доставал.

Она шла по полосе. Босая, нет, в тапочках, матерчатых, тонких, холод бетона проходил сквозь них, как через бумагу. Подошвы ступали осторожно, ощупью, хотя она видела, куда идёт. Пыль поднималась с каждым шагом, оседала на ткани тапочек, на щиколотках, на голых ногах ниже халата. Серая, кирпичная, с красноватым оттенком.

За стеллажами, последний ряд, самый высокий, с коробками до потолка. Вера обошла его, протиснувшись между картоном и стеной, боком, втянув плечи, чувствуя, как край коробки царапает лопатку сквозь халат. Прошла. Обернулась.

Стена.

Нет, не стена. Дверь.

Узкая, низкая, Вере пришлось бы наклонить голову, если

бы вошла. Деревянная, тёмная, от сырости потемневшая до чёрного. Вросла в стену, или стена выросла на неё: кирпич по бокам вплотную, без зазора, без косяка, как будто дверь была раньше, а потом её замуровали, и забыли, или оставили. Таблички, нет. Ручки, нет. Скоба, вбитая в дерево, железная, тёмная, короткая, как пальцы сжатой ладони.

Вера взялась за скобу. Металл, ледяной, скользкий, с каплей влаги на изгибе. Потянула. Дверь не поддавалась. Тянула сильнее, скоба впилась в пальцы, боль тупая, короткая. Дверь стояла. Тянула в сторону, чуть к себе, чуть влево, как открывают двери, которые давно не открывали, и что-то щёлкнуло внутри, тихо, как суставный хруст, и дверь подавалась.

Открылась внутрь. Со скрипом, не тем, что на лестнице, не деревянным. Сырым, как трение мокрого камня о камень. За дверью, темнота. И сквозняк. Сильнее, чем в подвале, направленные, как из трубы. Воздух шёл оттуда, снизу, из глубины, сырой, глинистый, с тем же запахом: тина, песок, озеро. Вода. Из-под пола, из-за двери, шёл запах воды.

Полоса, входила. Пересекала порог, уходила в темноту, белёсая нитка на чёрном.

Вера стояла. Несколько секунд. Дыхание, ровное, сдер-

жанное, как перед погружением. Она не боялась. Страх, ушёл, или притупился, или сместился куда-то глубже, под рёбра, и лежал там, как камень, тяжёлый, но неподвижный. Вместо страха, ясность. Резкая, стеклянная, как воздух после грозы. Всё, чётко. Скоба в руке, скрип двери, запах воды, полоса на пороге. Всё, настоящее. Всё, физическое.

Она вошла.

Коридор. Узкий, в плечо шириной, не больше. Низкий, сводчатый, кирпичный, потолок в полуметре от макушки. Кирпич, старый, красный, потемневший от влаги, с белыми подтёками известки и зелёными прожилками, мох, или плесень, или то и другое. Стены, сырые, на ощупь, если коснуться, и она коснулась, холодные, липкие, с плёнкой влаги на поверхности. Кирпич был не ровный, не заводской, не стандартный. Рукотворный, неровный, с отпечатками пальцев на глине, с пузырьками и трещинами. Старый. Очень старый.

Свет. Не лампа, не электричество. Серый, рассеянный, шёл снизу, из глубины, как будто коридор спускался к поверхности воды, и свет отражался от неё, поднимался, ложился на кирпич. Вера не видела источника. Свет, просто был. Тусклый, водянистый, достаточный, чтобы видеть стены, пол, поворот через три метра.

Коридор шёл вниз. Не резко, полого, как пандус, наклон в несколько градусов, но вниз. Ступеней не было. Пол, кирпичный, как стены, выложенный неровно, с ямами и буграми, с лужицами в углублениях. Вода, стоячая, прозрачная, по сантиметру. Под подошвами, хлюпало тихо, на каждом шагу. Тапочки промокали. Вера не останавливалась.

Поворот. Коридор изгибался влево, плавно, как русло подземной реки. За поворотом, ещё кирпич, ещё свод, ещё свет снизу. И тишина. Не та, что в палатах, не та, что в комнатах. Другая. Глубокая, плотная, как вата в ушах, но не абсолютная. Где-то далеко, на грани слуха, звук. Капель. Тот самый, ритмичный, неравномерный, с паузами разной длины. Капли падали в воду. Где-то впереди, внизу, за следующим поворотом, или за тем, что после.

Ещё поворот. Ещё наклон. Потолок опускался. Вера наклонила голову, потом опустила плечи. Свод давил, не касаясь, но давил, весом камня, весом земли, весом здания, которое стояло наверху, над ней, и не знало, что под ним, этот коридор. Или знало.

Или коридор был раньше здания. Намного раньше. Кирпич, ручной кладки, доменный, с пузырьками и отпечатками пальцев. Не двадцатый век. Не девятнадцатый. Раньше. Подвалы, подземные ходы, старое основание, на котором позже

построили санаторий, а потом клинику. Фундамент, которого не было на схеме. Или был, и кто-то его стёр со схемы, как вырвал страницы из истории Ирины.

Капли, ближе. Свет, ярче. Серый, водянистый, поднимающийся снизу, как от поверхности. Коридор кончался.

Комната.

Вера остановилась на пороге. Потолок, сводчатый, выше, чем в коридоре, но ниже, чем в палатах. Метра два, может, меньше. Стены, кирпич, тот же, старый, с подтёками и мхом. Но не сырые. Сухие, или суше, чем коридор. Пол, каменные плиты, неровные, с щелями, но без воды. Сухо.

Кровать. Железная, узкая, армейская, с панцирной сеткой. Одеяло, серое, грубое, армейское. Подушка, тощая, в серой наволочке. Аккуратно застелено. Кровать была, чья-то. Не забытая, не брошенная. Жилая.

Стол. Деревянный, маленький, как школьная парта, с одной откидной крышкой. На столе лампа. Не электрическая, керосиновая, с потемневшим стеклом, с фитилём, с запахом керосина, горьким и сладким одновременно. Не горела. Но рядом, спички, в картонной коробке, потрескавшейся. Лампа была, рабочая. Кто-то пользовался ею.

Стул. Деревянный, прямой, с вытертым сиденьем. На сиденье, подушка, маленькая, сшитая вручную, из грубой ткани. Кто-то сидел. Долго часто, сиденье вытерто до белизны, дерево гладкое, как отполированное.

На столе лежали тетради. Вера подошла, присела на стул и подняла верхнюю.

Толстая, в кожаном переплёте, потёртом, с трещинами на корешке. Обложка, без надписи. Она открыла. Первая страница, дата, написанная от руки, чернилами, ровным мужским почерком: «12 сентября 1979 года». Ниже: «Прибыл на остров. Назначение, заведующий отделением санатория „Тихий берег“. Жильё, комната на втором этаже. Пациентов, нет. Санаторий пуст. Медсестра, Галина Зайцева, 25 лет. Повар, Нина Семёнова, 23 года. Другого персонала, нет.»

Астахов. Дневник Астахова. Здесь, в подвале, в комнате, которой не было на схеме. Он не увёз дневник. Он оставил. Или кто-то оставил за него.

Вера перелистнула. Десятки страниц, сотни. Почерк, ровный, мелкий, без наклона, как у человека, привыкшего писать быстро и много. Записи, ежедневные, с датами, с наблюдениями. Описания пациентов, схемы лечения, дозиров-

ки. Обычный клинический дневник, первые годы. Ничего необычного. Обычный врач в обычном санатории.

Потом на шестом году, почерк менялся. Не ухудшился, изменился. Буквы, крупнее, нажим, сильнее, строки, неровные. Как будто рука писала не головой, а чем-то другим. Записи, длиннее, детали, другие. Не пациенты, коридоры. Не лечение, звуки. Не симптомы, сны.

— 14 марта 1989 года. Третья ночь без сна. Не могу. Каждый раз, когда закрываю глаза, вижу воду. Озеро, сверху, как на карте. И фигуру. На дне. Человеческую. Стоит. Смотрит вверх. На меня.

Вера перелистывала дальше, быстрее. Год, два, три — почерк становился всё крупнее, всё неровнее, записи короче, рубленые.

— 1991. Не сплю второй год. Галина, не спит тоже. Молчит. Я пишу. Если перестану, начну говорить. Если заговорю, не остановлюсь.

— 1992. Она приходит не во сне. Она приходит наяву. Разница, стёрлась. Я не знаю, сплю я или нет.

Вера перелистнула к концу. На последних страницах —

другие почерки. Не Астахов: кто-то другой писал поверх, между строк, на полях. Более молодой почерк, торопливый, с наклоном вправо.

— 1994. Астахов уехал. Оставил тетради мне. Я читал. Я не должен был читать. Теперь, я тоже вижу.

— 1995. Она приходит к тем, кто не спит. Не потому что они не спят, потому что не могут перестать смотреть. Бодрствование, это взгляд. Сон, это закрытые глаза. Кто не закрывает, видит. Кто видит, не может перестать.

— 1997. Костя. Мальчик. Он видит. Он видит с самого начала, с рождения, может быть. Он рисует её. Она не приходит. Она ждёт. Она была здесь всегда. Под зданием. Под островом. В воде. В стене. Везде, где есть камень и вода, она есть.

— 1998. Ирина увидела. Костя, увидел. Я вижу. Нельзя уйти. Я уеду, и вернусь. Все возвращаются. Лавров уедет, и вернётся. Никто не уходит. Уходить нельзя, уйдёшь, вернёшься. Она не отпускает. Не потому что держит, потому что ты сам не можешь. Как не можешь не дышать.

Запись, последняя. Год назад. Тот же почерк, но дрожащий, с обрывами, как рука устала.

— Он ждёт. Мальчик. У воды. Он не один. С ним, она. Ждут того, кто увидит. Кто увидит, останется. Кто останется, станет частью. Ирина, стала. Я становлюсь. Кто следующий?

И ниже, на полях, карандашом, мелко: «Соколова.»

Её фамилия.

Вера смотрела на свою фамилию, написанную карандашом на полях тетради, в подвале, в комнате, которой не было на схеме здания. Год назад. За полгода до того, как её назначили. За полгода до того, как она узнала, что клиника существует.

Горло, стянуло. Не от слёз, от чего-то другого. От понимания, которое приходит не через голову, а через тело: как холод, как удар, как падение. Не мысль, факт. Факт, который тело знало раньше головы.

Она подняла голову. На стене, напротив стола, рисунки. Детские. Прикреплены к кирпичу, не кнопками, не скотчем. Вдавлены. Как будто кто-то прижал бумагу к сырой штукатурке и держал, пока штукатурка не схватилась, не приморозила бумагу к стене. Десятки, дом, озеро, деревья. Те же, что в коробке: «Костя, 6 лет.» Но не только Костины. Другие.

Старше. Рука увереннее, линии, точнее. Не детская рука. Та, что рисовала каждый день, годами.

Женщина в белом, на десятках листов. Стоящая, сидящая, идущая. Всегда без лица. Пустой овал. Длинные волосы, длинное платье, переданное пустотой.

И другие. Не женщина в белом. Женщина с короткими волосами. В халате. В кресле с подлокотниками. С книгой на коленях. Линии, точные, до мелочи: посадка головы, длина волос, линия плеч. Та же, что на рисунке Лены, датированном прошлым годом. Но здесь их было больше. Пять, семь, десять, на разных листах, в разных позах. Читающая, спящая, стоящая у окна. И лежащая. На кровати. С закрытыми глазами. И рядом, у изголовья, наклонённая, другая фигура. Высокая. С длинными волосами.

Вера.

Кто-то рисовал её, здесь, под землёй, в комнате без окон, при свете керосиновой лампы, год, может, дольше. Кто-то знал, как она выглядит, до того, как она приехала. Кто-то, ждал.

Она положила тетрадь на стол. Встала. Стул скрипнул, коротко, в тишине комнаты, как выстрел. Повернулась к двери.

Тимур.

Стоял в дверном проёме. В серой форме, в тапочках на босу ногу. Руки, вдоль тела, прямые, неподвижные. Лицо, то же, что всегда: без выражения, тёмные глаза, прямая линия рта. Но другое. Не лицо, поза. Он стоял так, как стоят в дверях, которые охраняют. Не случайно. Не мимо проходил. Был здесь. Или ждал. Или слышал, как она спустилась, и шёл следом, по тому же коридору, по той же полосе, по тем же кирпичам.

Между ними, три метра, стол с тетрадями, стул, лампа. Воздух, спёртый, керосиновый, с запахом воды снизу. Свет, серый, водянистый, ниоткуда. Тишина, глубокая, подвальной, в которой даже дыхание, не слышно.

— Вы не должны были это находить, — сказал он.

Голос, тихий, ровный, без интонации. Но не мёртвый. Сдержанный, как всегда, как каждое его слово. За фразой, другая, не сказанная. Вера слышала её, как слышат паузу между нотами: не звук, но то, что звуком не стало.

— Кто это написал? — Она кивнула на тетради. — Кто после Астахова?

Тимур не двинулся. Не моргнул. Глаза, карие, тёмные, почти чёрные, без бликов. В сером свете, два провала.

— Все — сказал он.

— Все, кто?

— Все, кто приходил после. Врачи. Которые видели.

— Лавров?

— Лавров.

— И вы?

Пауза. Не длинная, но не пустая. В ней, что-то, что Вера не успела прочитать.

— Я не врач, — сказал Тимур.

— Вы санитар.

— Я остаюсь.

Она смотрела на него. Он на неё. Два человека в подзем-

ной комнате, под зданием клиники, под островом, под октябрьским небом. Между ними, тетради, в которых тридцать лет записей, и рисунки, на которых её лицо, нарисованное раньше, чем она приехала.

— Тимур. Что это за место? Почему здесь кровать? Кто здесь живёт?

Он не ответил. Отступил, на шаг, в коридор. Тень легла на лицо, стёрла черты. Остались, глаза. Тёмные, без дна.

— Теперь вы тоже здесь, — сказал он.

И ушёл. Бесшумно, как ходил всегда. Тапочки, матерчатые, мягкие, скользили по кирпичу. Шагов, не было. Был, шорох, тонкий, как трение ткани о камень, и стихал, уходил, таял в коридоре, за поворотом, за следующим.

Вера стояла в комнате. Одна. С тетрадями, с рисунками, с керосиновой лампой, с кроватью, на которой кто-то спал, или не спал, или не мог уснуть, и вставал, и писал, и рисовал, и царапал стену, и ждал.

Ждал, её.

Она посмотрела на стену, на рисунки. На свой профиль,

нарисованный чужой рукой. На женщину в белом, наклонённую над её кроватью. На пустой овал вместо лица.

Полоса на полу, шла от порога, через комнату, к дальней стене. К стене, где Вера увидела сейчас, при свете, были царапины. Тонкие, параллельные. Снизу вверх. Те же, что в палате номер десять.

Те же.

Глава 9. Порог

Стул скрипнул, когда она села обратно. Тот же звук, что и минуту назад, короткий, сухой, как щелчок сустава. Только теперь в комнате было тихо иначе: Тимур ушёл, и его отсутствие было громче, чем присутствие. Воздух ещё хранил контур его тела в дверном проёме, или казалось, что хранил.

Вера взяла следующую тетрадь. Не Астахова, та, что после. Тоньше, в картонной обложке, потёртой по углам. Тёмные пятна на картоне, то ли вода, то ли пальцы, то ли время. Она открыла.

Почерк, не астаховский. Другой: мельче, торопливее, с наклоном вправо, с нажимом на концах букв, как будто рука торопилась и дожимала каждое слово. Первая запись, без даты, без вступления, как продолжение разговора, который начался раньше.

— Астахов оставил мне тетради. Я не должен был читать. Я прочитал, и теперь не могу перестать. Он знал. Он знал и оставил, как оставляют заряженное ружьё. Не для того, чтобы кто-то выстрелил. Для того, чтобы кто-то знал, что оно заряжено.

Вера перелистнула. Записи, без системы, не каждый день, иногда через неделю, иногда через месяц. Но последовательные. Тема, одна.

— Я читал про остров. Не в тетрадях, в библиотеке Петрозаводска, приехал на выходные. Остров не всегда был островом. До восемнадцатого века, полуостров, перешеек, соединявший его с берегом. Потом наводнение. Тысяча семьсот двадцать второй год, весна, лёд пошёл, вода поднялась на четыре метра. Перешеек затопило. Полуостров стал островом. Вместе с перешейком, ушла деревня. Маленькая, тридцать дворов, церковь на берегу. Вода пришла ночью. Часть людей успели уйти. Часть, нет. Тела не все нашли.

Вера остановилась. Перечитала. Тысяча семьсот двадцать второй. Триста лет. Триста лет, как река, как слой земли, как кольцо на спиле дерева. Триста лет назад вода пришла ночью и забрала тех, кто спал.

Следующая запись, через страницу.

— В архиве Петрозаводска, метрическая книга церкви, которая стояла на перешейке. Церковь Рождества Богородицы, деревянная, построена в шестнадцатом веке. Приход, тридцать дворов. Священник, отец Иоанн. В метрике, запи-

си о рождениях, браках, смертях. И одна запись, непонятная, в конце, перед потопом. Без даты. Рукой священника: „Приходила снова, нет, вновь, женщина, босая, в белом. Стояла у церкви на рассвете. Говорила, что ждёт. Спрашивала, увидит ли кто. Я ответил, все увидят в день Судный. Она сказала, не в день Судный. Сейчас. Сегодня. Я не понял. Она ушла к воде.“

Вера перечитала трижды. Женщина, босая, в белом. Стояла у церкви. Говорила, что ждёт. Спрашивала, увидит ли кто. Триста лет назад. До клиники, до санатория, до дома отдыха, до кирпичного здания с узкими окнами. Женщина в белом стояла на берегу и спрашивала, увидит ли кто.

Следующая запись, короче, рубленее, как вырезанное ножом.

— Она не призрак. Призрак, это повторение, петля, запись, проигранная снова и снова. Она не повторяется. Она ждёт. Ждёт с трёхсот лет. Или раньше. С того момента, как вода и камень встретились на этом месте. Она то, что между водой и камнем. Между озером и островом. Не живая и не мёртвая. Не здесь и не там. Между.

— Она не хочет мести. Не хочет жертвы. Хочет свидетельства. Чтобы её увидели. Чтобы кто-то, не отвернулся. Чтобы

кто-то, посмотрел в её лицо и не закрыл глаз. Это, всё, что ей нужно. Увидеть, и не отвернуться.

Вера перелистнула, дальше, к концу тетради. Почерк, крупнее, дрожащий, как у человека, который пишет не за столом, а лёжа, или на коленях, или в темноте.

— Порог. Между сном и явью, пространство. Не сон, сон закрыт. Не явь, явь отвлекает. Между ними, щель. Как между дверью и косяком. Если долго не спать, щель расширяется. Если не спать достаточно долго можно войти. Войти, и увидеть. Не глазами, всем телом. Всем, что в теле живёт. Кожей, костью, кровью. Увидеть, и не отвернуться.

— Каждый, кто здесь задерживался, входил. Астахов, я, Лавров. Все входили. Все видели. Не потому что она приходила, потому что мы переставали спать. Бодрствование, это взгляд. Чем дольше не закрываешь глаз, тем больше видишь. Бессонница, не болезнь. Бессонница, это дверь, которая открывается. Она за дверью. Не приходит. Находится. Всегда.

— Ирина, вошла дальше всех. Она не спит четыре года. Она там. В пространстве между. Она не может вернуться, потому что не может закрыть глаза. Видеть, нельзя перестать. Как дышать. Как бодрствовать. Как жить.

Последняя запись в тетради, карандашом, на полях, мелко, как приписка, добавленная позже, после всего:

— Кто-то должен увидеть её лицо. Не отвернуться. Не закрыть глаза. Тогда, она отпустит. Или не отпустит. Я не знаю. Но кто-то должен. Кто-то, кто уже видит. Кто-то, кто уже, на пороге.

И ниже, тем же карандашом, тем же почерком, что на полях прошлой тетради:

— Соколова.

Вера закрыла тетрадь. Положила на стол. Руки, серые от пыли, от кирпича, от штукатурки. Пальцы, холодные, не от подвала, от чего-то другого. Внутреннего.

Она посмотрела на стену. На царапины. Снизу вверх, к потолку, к своду, к кирпичу, из которого сложен потолок этой комнаты, этого коридора, этого подвала, этого здания, этого острова. Сотни линий. Тонких, параллельных, одинаковых.

Отметки.

Не ритуал. Не навязчивость. Не стереотипия. Отметки. Как зарубки на дереве, как насечки на стене камеры, как чер-

точки на двери тюремной камеры, день за днём, ночь за ночью. Кто-то считал. Ночи, проведённые без сна. Дни, проведённые в комнате под землёй. Или не считал. Оставлял. След для того, кто придёт позже. Чтобы тот увидел, и знал. Чтобы не думал, что он первый. Чтобы понимал, за ним тоже придут, и тоже оставят след, и тоже не смогут уйти.

Для неё.

Вера встала. Стул отъехал, ножки прошли по камню с тихим скрежетом. Она стояла в комнате, в которой тридцать лет жили, писали, не спали, ждали, и рисовали её лицо до того, как она приехала. Она стояла, и не чувствовала страха. Не потому что его не было. Потому что он сменился чем-то другим. Ясностью? Нет. Принятием? Нет. Пониманием, телом, не головой. Тем, что нельзя объяснить, потому что объяснение, это слова, а слова, на поверхности. А она, уже не на поверхности.

Она вышла. Коридор, тот же, кирпичный, сырой, узкий. Свет, серый, снизу. Капли, не слышно. Тишина, глубокая, подвальная, как вода на дне. Вера шла по полосе, белёсой, тонкой, на кирпичном полу, и не смотрела под ноги. Знала, куда ведёт.

Двенадцать ступеней вверх. Подвал, стеллажи, коробки,

желтоватый свет ламп. Дверь, открыта, замок, на скобе. Коридор первого этажа. Линолеум, тёмные дорожки, двери.

Тишина.

Не та, что всегда, другая. Пустая. В ней не было, дыхания. Шагов. Скрипа половиц. Гудения холодильника. Звука труб. Ничего. Как будто здание, вымерло. Или замерло. Как сердце, которое остановилось между ударами.

Вера прошла по коридору. Кухня, пуста. Плита, холодная. Стол, вытерт, чист. Ни тарелки, ни чашки, ни крошки. Прачечная, пуста. Бельё, сложено, стопки ровные, нетронутые. Кладовая, закрыта.

Лестница. Второй этаж. Её комната, дверь открыта, всё на местах: кровать, стол, тумбочка, тетрадь. Она не стала заходить. Поднялась выше.

Третий этаж. Палаты.

Четвёртая. Дверь, открыта. Вера заглянула. Кровать, застелена. Одеяло, ровное, подушка, взбита. Тумбочка, чистая. Ни карандаша, ни бумаги, ни резинки. Ни стопки рисунков. Лена, исчезла. Вместе со всем, как будто её не было.

Шестая. Марк. Кровать, застелена. Одеяло, натянуто, как в армии, углы, прямые. Тумбочка, пуста. Клочка бумаги, нет. Карандашного огрызка, нет. Марк, исчез. Молча, как жил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.